

Екатерина Ру

18+

ОЖИДАНИЕ



Люди, которые всегда со мной

Екатерина Ру

Ожидание

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Ру Е. А.

Ожидание / Е. А. Ру — «Издательство АСТ», 2023 — (Люди, которые всегда со мной)

ISBN 978-5-17-157567-0

Саша собирается уехать из родного города и начать новую, давно желанную жизнь, но неожиданное материнство перечеркивает все ее планы. Став жертвой синдрома отрицания беременности, она отчаянно пытается понять и принять реальность, в которой совершенно внезапно появился на свет ее ребенок. Реальность, в которой вся ее жизнь разваливается на части. Эта книга о выборе и о невозможности выбора. О праве на мечту и о невозможности мечты. Об отрицании окружающей действительности и о невозможности жизни за ее пределами. А также о нелюбви и о надежде на любовь и второй шанс.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-157567-0

© Ру Е. А., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

0. Раскрывшаяся мидия	6
1. Не аппендицит	10
2. Так бывает	15
3. Привратница	21
4. Спрятавшийся	27
5. Негромкая мечта	33
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Екатерина Алексеевна Ру

Ожидание

*Но, если ты будешь приходить когда вздумается, я не буду знать,
на какое время настраивать сердце.
Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц*

© Ру Е. А., текст, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

0. Раскрывшаяся мидия

Саша улыбалась. До отправления поезда оставался почти час. Пока можно было просто застыть, просто подумать о предстоящей дороге. Спокойно посидеть в полупустом прохладном зале ожидания. Снять мокасины, вытянуть ноги на соседнее кресло. Представить, как много прекрасного впереди.

Впереди была Анимия, долгожданный Эдем Сашиного детства. Город, погруженный в вечную умиротворенность, в сытый сверкающий полдень. *Уже совсем скоро*, думала Саша, *этот город наконец-то станет реальностью*. Уже через считанные часы перед ней развернется долгожданное пиршество красок. Сначала в окне поезда возникнут оливковые рощи, заструится по теплему ветру влажное серебро листвы. Гордо и неторопливо начнут подниматься по склонам сочно-зеленые виноградники. А вдалеке слепящим ярко-синим пламенем заполыхает море.

Затем появится сам город – горячий, сонный, добродушно расслабленный. Саша выйдет из поезда, пройдет через здание вокзала и сразу окунется в уличную пестроту, пропитанную безмятежным радостным светом. Анимия тут же примет ее, тут же раскроет перед ней свои объятия. Зажурчит фонтан в виде райского павлина, вытянется Центральная улица, мерно дышащая зеленовато-пятнистыми вековыми платанами. Будут множиться, густеть всевозможные лавочки, винные погреба, пекарни. Чуть дальше засияют сливочно-белые шероховатые стены домов, зарумянится черепица крыш. Саша будет долго и неспешно идти сквозь тенистые переулки, сквозь уютные площади, беспечно дремлющие под зонтами пиний. Мимо садов, укутанных сладким красочным маревом олеандров. Из открытых дверей и окон польются упоительные запахи: горячего теста, кофе, пряностей, раскаленного оливкового масла с чесноком. Заговорят друг с другом колокольни церквей, начнут спорить, перекрикивать друг друга, но в их многослойном звоне все будет о радости, об успокоении. А в какой-то момент перед Сашей распахнется бескрайний морской рынок. И тогда все вокруг засверкает рыбьей чешуей, запестрит ломтями рыбьей плоти. Саша потонет в головокружительном солено-йодистом духе морской утробы. С жестяных поддонов, набитых колотым льдом, на нее будут смотреть ярко-розовые панцири креветок, серо-сиреневые щупальца осьминогов, зеленовато-коричневые клешни лобстеров. И блестящие черные раковины мидий – еще не раскрывшихся, еще живых...

У Саши в кармане лежал билет в один конец. Пришла пора навсегда покинуть родной Тушинск – город, наполненный дорогами воспоминаниями, но нестерпимо тесный, давящий. Как неудобная обувь. Последние несколько дней Саша проходила в неудобных туфлях, и ноги теперь ужасно болели и нарывали. В тесном родном городе Саша проходила много лет. Тушинск давил на нее со всех сторон, не давал расправить плечи. Не отпускал в Анимию. И, конечно, боль после этого многолетнего сдавливания оказалась несравненно сильнее, чем после ношения жмущей обуви. Но теперь все было позади. Тесная обувь и тесный город остались там, по ту сторону вокзальных дверей. Уже сейчас, глядя на непрерывные обновления вокзального табло, Саша чувствовала, как обновляется и она сама. Каждой своей клеткой. Ощущение близкой дороги нарастало, опьяняло, высвобождая внутри что-то важное, теплое, целебное. Боль вот-вот должна была отступить.

Напротив Саши сидел мужчина – темноволосый, зеленоглазый, с тонкими заостренными чертами. Он казался Саше воздушно-легким, сухим – словно склеенным из бумаги. Словно готовым в любой момент унести по ветру или вспыхнуть багряным пламенем от малейшей искры. Мужчина играл со своим сыном. Малышу было года два, возможно, чуть больше. Он бегал вокруг ряда соединенных кресел, на одном из которых сидел его бумажно-невесомый

отец. Всякий раз, когда ребенок пробежал мимо, мужчина изображал, что пытается его схватить, а малыш с визгливым смехом уворачивался и продолжал наматывать круги.

Саша почти не смотрела на ребенка – он только мелькал на периферии ее зрения. Она смотрела на мужчину. *Не то чтобы красивый, но что-то есть*, подумала Саша.

Мужчина встретился с ней взглядом и улыбнулся – легко, бездонно, как будто не только лицом, а всей своей воздушной сущностью. От этой улыбки Саша почувствовала сладостно холодающее падение внутрь себя – как когда-то в детстве, в парке аттракционов, на спуске с самой высокой горки. Стремительное скатывание в неведомую пропасть собственного нутра. Саша улыбнулась в ответ.

И вдруг она заметила краем зрения, что малыш застыл и очень внимательно, почти тревожно посмотрел в ее сторону. Внутреннее падение тут же прекратилось. Почему-то стало не по себе: будто в ночной квартире внезапно замолк привычный фоновый гул и возникла плотная непроницаемая тишина. Неуютная. Угрожающая. Саша перестала улыбаться и медленно перевела взгляд на странно замершего и притихшего ребенка. Малыш пристально ее разглядывал. Что-то очень знакомое и в то же время едва ли не зловещее смотрело из беспокойных маленьких глаз, вдруг ставших совсем не по-детски серьезными, остро сосредоточенными. Словно что-то в этом взгляде пыталось выдернуть из глубины ее мыслей тщательно запрятанные воспоминания. Или предчувствия.

Но прошло несколько секунд, и малыш снова начал резвиться как ни в чем не бывало. Вернулся к привычной веселой беготне. Его взгляд сделался беззаботным и быстрым, а напряжение растворилось в детской хаотичной подвижности. *Показалось*, выдохнула Саша. И к ней сразу возвратилось ощущение предстоящей дороги, сотканное из радостного трепетного ожидания.

Мужчина продолжал играть с сыном. Время от времени он смотрел на Сашу и улыбался. У него были по-весеннему зеленые глаза, налитые спокойной ясной свежестью. И Саша продолжала улыбаться ему в ответ, вновь и вновь соскальзывая в прохладную внутреннюю невесомость.

По громкоговорителю объявляли об отправлениях и прибытиях. Саше нравилось слушать эти почти непрерывные однотипные фразы – особенно об отправлениях. Ведь за их шаблонной бесцветностью и холодновато-отстраненной формой прячется столько всего будоражащего. Скоро объявят и о том самом поезде, который увезет ее далеко отсюда, в новую желанную жизнь, напоенную густым солнцем. Теперь Саша наконец-то станет привратницей своего Эдема, как ей и мечталось уже столько лет.

От сладостного предвкушения пути закружилась голова. Саша прилегла на соседнее пустующее кресло, положив под голову рюкзак. Небольшой замшевый рюкзак с одеждой и косметичкой – это все, что она взяла с собой. Саша решила отправиться в путь налегке. Да и что еще стоило брать из старой жизни, из тесного, давящего города Тушинска?

Бумажно-невесомый зеленоглазый мужчина тем временем поднялся с места и направился в сторону кофейного автомата. *Интересно, какого поезда он ждет*, подумала Саша, *куда собирается ехать вместе с сыном*. А впрочем, какая разница, все равно им не по пути. Саше в этот раз не по пути ни с кем: Анимия ждет только ее, никого больше.

Шаги мужчины уносились по плиточному полу почти беззвучно. Саша с удивлением отметила, что, поднимаясь с кресла и отходя в сторону, он не взглянул на ребенка.

Странно, что он так резко оборвал игру.

Малыш все еще бегал вокруг кресел, будто не замечая, что отец уже не собирается его ловить. *Или в самом деле не замечая?* От этого одинокого продолжения игры повеяло тонким холодком – словно где-то совсем рядом с горлом медленно проплыло лезвие.

И тут Саша увидела, что мужчина прошел мимо автомата. Он шел вовсе не за кофе. Он приближался к выходу из зала ожидания.

Саша приподнялась на локтях. Как же так, оставить такого маленького ребенка одного, без присмотра... Конечно, всем бывает нужно отлучиться, но почему не взять малыша с собой? Или хотя бы попросить кого-нибудь за ним присмотреть. Ее, например.

Мужчина шел довольно быстро и уверенно. На оставленного сына ни разу не обернулся. Саша смотрела на уплывающую бумажно-легкую спину и все отчетливее чувствовала неприятное щекотание внутри. Будто много маленьких и очень холодных бутонов одновременно пытались раскрыться где-то за грудной клеткой. Распуститься болезненным ледяным букетом.

Саша скинула ноги на пол и посмотрела на малыша. Он по-прежнему смеялся, словно по инерции, но в этом смехе крошечными острыми осколками уже звенел плач. Еще немного, и он осознает, что отца рядом нет.

Разве можно так уходить, вертелось в Сашиной голове, *разве можно?* Куда он? Мальчик вот-вот испугается. И ведь он даже ничего не сказал своему ребенку, перед тем как отлучиться! Просто встал и ушел.

Мужчина покинул зал ожидания и повернул направо, к выходу на платформы. *Он уезжает*, сверкнула внезапная жуткая мысль. Уезжает и бросает собственного сына!

Саша вскочила. Схватила на руки малыша и, не надевая мокасин, побежала следом за отцом, беспечно плывущим сквозь толпу.

– Подождите! Ваш ребенок! Вы забыли ребенка!

Холодные бутоны внутри неумолимо продолжали раскрываться. Мужчина удалялся, нырял в волну снующих мимо тел и снова выныривал на поверхность. Все такой же легкий, не намокающий, почти эфирный. У турникета он на секунду остановился, достал из кармана билет и приложил его к считывающему устройству. Уезжает, он правда уезжает! Сбегает от сына! Решил вот так просто избавиться от малыша. А ведь только что с ним играл!

Саша бежала, почти не замечая жгучей боли в стопах от свежих пульсирующих нарывов. Поскальзывалась на липком плиточном полу, чуть не роняла ребенка, расталкивала нерасторопных пассажиров, которые как будто уплотнялись, постепенно срастаясь в одно сплошное непроницаемое тело. Мужчина уже прошел на платформу и скрылся из виду. Успеть, надо обязательно успеть.

Бежать становилось сложнее с каждой секундой. Ноги тяжелели, словно в них стремительно стекала вся Сашина кровь. Непреодолимая мучительная свинцовость тянула куда-то далеко вниз, под немытую бежевую плитку, под фундамент вокзала.

Саша крепче прижала к себе малыша, то и дело норовящего выскользнуть, и закричала изо всех сил:

– Стойте! Не дайте ему уехать! Он... он оставил...

Вместо крика получился жалкий протяжный хрип. Саша добежала до турникетов и остановилась тяжело дыша. Где-то далеко, будто под высоким церковным куполом, объявляли о начале посадки на ее поезд. Саша с трудом слышала спокойный безучастный голос невидимого человека-громкоговорителя. Словно чужая речь из внешнего мира прорывалась в ее глубокий сон. Ребенок на руках дергался и хныкал.

Пожилая вокзальная служащая, оторвавшись от обеденного перекуса, медленно и неохотно приблизилась к Саше.

– Что с вами? Что тут у вас случилось?

Саша пыталась объяснить, но от ужаса и негодования не могла. Нужные слова металась по горлу, как острые сухие листья на ветру, но не вылетали.

– Тут просто... тот мужчина... он сейчас зайдет в поезд. У него ребенок!

– Успокойтесь, придите в себя.

Бугристо-отечное лицо служащей выражало усталость и вялое раздражение. Саша вздрогнула и медленно обвела взглядом вокзал. *Придите в себя*. Люди вокруг притормаживают.

вали, оглядывались на нее. Смотрели с недоумением, жалостью, любопытством. Многие смущенно опускали глаза и отворачивались, едва столкнувшись с ней взглядом.

Почему все на меня так смотрят, думала Саша и от возмущения захлебывалась в собственных мыслях. Что я сделала? Почему я должна прийти в себя? Это ведь он бросил своего ребенка, а я только...

– Ну так что с вами? Кто должен зайти в поезд, какой еще мужчина?

– Тот самый, который...

Ребенок все еще хныкал. Саша посмотрела на него несколько секунд – сосредоточенно, напряженно, не моргая.

И тут к Саше наконец пришло осознание. И то, что пыталось раскрыться внутри, наконец раскрылось. Это были даже не ледяные бутоны.

– Который что?

Это было раскрывшееся отчаяние. Раскрывшееся до конца – и потому сразу умершее, перешедшее в жуткое тихое смирение. Как мидия, брошенная в кипяток. Блестящая черная мидия с рыночного лотка Анимии. Пришел тот самый момент, когда мышца перестает сопротивляться, ослабевает, разжимается, и половинки раковины раскрываются, впуская в себя смерть.

Взгляд служащей немного подобрел. Она положила Саше на плечо сыровато-мягкую, словно бескостную руку.

– Просто успокойтесь, так бывает. Теперь уже ничего не исправить. На все воля свыше.

Саша медленно подняла глаза. К ней будто вернулся слух. Полился обычный гул вокзала, смешиваясь с жарким багровым гудением в висках. Безучастный голос свыше по-прежнему приглашал пассажиров сесть в поезда и отправиться в странствия. Но теперь все поезда казались недоступными, даже нереальными. В том числе и поезд в Анимию. Эдем Сашиного детства снова бесконечно отдалился, снова сделался недостижимым.

Служащая чуть заметно кивнула – словно сама себе, своим собственным инертным мыслям – и ушла доедать оставленный бутерброд.

Саша снова смотрела на ребенка – уже понимая, что в его глазах видит собственные глаза, в его чертах – собственные черты. Уже не пытаясь внутренне отрицать столь очевидное сходство. Непоправимое безнадежное сходство.

Она не сразу почувствовала, как разрастаются в глазах соленые слезы, как тяжелыми перезревшими гроздьями скатываются по щекам. Около минуты Саша стояла в глубоком оцепенении. Потом навалилась внезапная беспредельная усталость, будто кто-то повесил на Сашины плечи непосильный груз. Перед глазами все потускнело. Мутно-серые, пропитанные солью сумерки отделили Сашу от того, что происходило вокруг.

Малыш испуганно сжался.

– Мама, почему ты плачешь?

Саша не отвечала. Медленно качая головой и прижимая к себе ребенка, она уже шла к выходу из вокзала. Саша возвращалась в тесный, давящий город, в родной неизбежный Тушинск.

1. Не аппендицит

Так все и случилось. По крайней мере, в сухом остатке Сашиных впечатлений. По ее сущностным, глубинным ощущениям, все произошло именно так: стремительно, безжалостно, необъяснимо. В Сашином сознании месяцы жизни спрессовались в одну короткую сцену, наполненную изумлением и терпким немимым отчаянием. Если бы Сашу спросили, что на самом деле с ней случилось, она бы, вероятно, рассказала об эпизоде на вокзале – никогда не происходившем в действительности и тем не менее правдивом. Этот ирреальный эпизод был очень отчетливым, очень живым отражением ее состояния и рухнувшего на нее из ниоткуда неподъемного события. Концентрированным экстрактом всего произошедшего с ней абсурда, сказала бы Саша.

Хотя, конечно, в реальности появление мальчика было иным.

В реальности все началось с безмерной, нестерпимой боли.

В тот день было жарко. С утра постепенно набухало душное марево. Невидимое солнце сильно припекало – сквозь облачное молоко, тонко разлитое по небу. А после полудня солнце внезапно проступило на поверхность и растеклось – густое, лучистое, праздничное. И город как будто исчез, растворился в этом бескрайнем золотистом сиянии.

Саша возвращалась домой из торгового центра. Несла глянцевого бирюзового пакета с новенькими мокасами. Взамен изящных, но крайне непрактичных туфель, умирающих теперь в утробе огненно-ржавого мусорного бака. Саше придется много времени проводить на ногах, и удобная обувь ей жизненно необходима. Как и любому встречающему гиду. Тем более – встречающему в Анимии, в благодатном, напоенном безмятежной радостью городе, куда, несомненно, стекаются каждый день толпы странников.

И вдруг на Сашу изнутри обрушился первый болевой удар. Тяжелая острая боль врезалась в живот и провернулась там несколько раз крупным шурупом. Саша остановилась, прислонилась плечом к рекламному щиту, прикрыла глаза. Несколько мучительно долгих секунд ощущала, как кровь приливает к вискам, как сердце отчаянно толкается, словно ища выхода из груди. Но затем все прошло. Сердце начало успокаиваться, болевой шуруп исчез, оставив внутри теплую, как будто чуть подкравливающую пустоту. Видимо, это был обычный спазм – возможно, из-за слишком острого хот-дога, съеденного на ходу, всухомятку. Саша медленно выдохнула и двинулась дальше, сквозь залитую слепящим светом улицу.

Мимо проплывали неразличимые, растворенные в солнце здания, площади, скверы. Саша и не стремилась их разглядеть, не пыталась вытащить из солнечной слепоты родные, до мелких подробностей знакомые очертания. Исчезнувший в летнем сиянии Тушинск заново выстраивался в Сашиних мыслях совсем по-иному. Обрастал чужими, инородными чертами. Мысленно Саша была уже далеко.

Завтра вечером у нее самолет. Осталось проводить Кристину, и можно с легким сердцем отправляться в новую жизнь. Сначала они думали вместе лететь до Москвы и попрощаться в аэропорту, разойтись каждая в сторону своего теплого, трепещущего, налитого живыми красками будущего: Кристина к выходу в город, Саша – к стойкам регистрации на международные рейсы. Но билеты на один самолет взять не получилось, и в итоге Кристина решила ехать поездом. Ничего страшного, прощаются утром в стенах родного тушинского вокзала, среди гулкой прохлады и не обновляемого годами бежевого цвета, который стал теперь для Саши теплым, рассыпчатым, согревающим. Превратился в ласковое предощущение горячего южного песка.

Кристине месяц назад исполнилось шестнадцать. Она уже почти взрослая, через год будет поступать в столичный вуз. Одиннадцатый класс отучится в Москве. Будет жить в сахарно-белой, светлеющей огромными панорамными окнами отцовской квартире. Отец оплатит ей хороших репетиторов, достойные подготовительные курсы. И у Кристины обязательно все сложится легче и быстрее, чем у Саши. Ей не придется ждать много лет, чтобы начать *желанную* жизнь.

У входа в подъезд Саша наконец огляделась, застыла, всматриваясь в привычные контуры и цвета. Словно заранее прощаясь с родным двором. Вокруг буйно цвела сирень, сияла налитая светом тополиная листва, пятнились солнцем серые прямоугольники панельных домов. Все улыбалось, все было легким, праздничным, благословляющим Сашу в добрый путь. И лишь настороженно поскрипывали пустые качели – видимо, только что оставленные кем-то невидимым, успевшим молниеносно испариться. В этом размеренном скрипе будто звучал какой-то недоуменный протяжный вопрос, но какой именно, Саша разгадать не могла. Она лишь почувствовала, что на самом дне бурлящей в голове лучезарной музыки – радостной симфонии предстоящего отъезда – раздалась неуловимо тихая безутешная мелодия. Потянулась тоненьким потоком встречного течения.

Дома было прохладно и слегка сумрачно. Кристина так и не раздвинула с утра шторы, и по квартире плавал оливково-зеленый мутноватый свет. Лишь Сашина комната была распахнута солнцу, горячо дышала ромбами нагретого паркета.

– Мам, это ты?.. – небрежно протянула Кристина из ванной. – Где твои щипцы для волос?

Саша босиком прошла на кухню, достала из холодильника стеклянную морозно-свежую бутылку лимонада.

– Я их уже упаковала, вечером отвезу бабушке.

– Бабушке-то они зачем? С ее тремя волосинами. Лучше бы мне отдала, раз тебе не надо.

Шершавые ледяные пузырьки хлынули весело и щекотно, слегка оцарапали пересушенное горло. Внутри растеклась приятная прохлада.

– купишь себе свои. В Москве.

– Ну допустим. А гель для укладки? Тоже упаковала?

– Вчера вечером.

– О май гад, в этом доме есть хоть что-то неупакованное? Я вообще-то еще здесь, если кто не заметил.

– Не ворчи. Тебе и так хорошо, без всякой укладки.

Саша убрала лимонад и неторопливо прошла по квартире, уже налившейся полупрозрачной нежилой пустотой. Оголенные стеллажные полки, расчищенный до глянцевого блеска письменный стол, свободные, словно от внутренней распирающей легкости открывшиеся шкафы – все смотрело безучастно, отстраненно. Будто с фотографий мебельного каталога. Обезличенные, потерявшие живую сердцевину предметы обстановки. И лишь кремовые обои в Сашиной комнате – лишенные привычно плотного слоя картин и фотографий – казались теперь ранимыми, осиротелыми. Едва различимый узор из тонких листиков дышал тепличной трогательной беззащитностью.

Почти все Сашины и Кристинины вещи были разложены по сумкам, чемоданам, картонным коробкам. Часть из них отправится в Москву, часть – в Анимию. Остальное Саша отвезет сегодня вечером на мамину квартиру. А сюда через неделю въедут новые жильцы и наполнят пространство своими личными предметами, звуками, запахами. Будут наслаивать на стены собственные, никак не связанные с Сашей воспоминания.

– Ладно, мам, я пойду. Утюга я, кстати, тоже не нашла. Ты прямо так торопишься уехать?

Кристина вышла из ванной. Расправила на коленях мятую юбку и вопросительно посмотрела на мать. Тоненькая, костистая, словно острая весенняя ветка, еще не покрывшаяся листвою. Длинная шея, взъерошенные медно-темные волосы. Глаза-каштаньки: ярко-коричневые, гладкие, с переливами.

Саша в ответ чуть заметно улыбнулась.

– Во сколько приедешь?

– Вечером. Поздно. Ложись спать, меня не жди.

– Напоминаю, что у тебя завтра поезд в восемь утра. Если вдруг забыла.

– Не забыла, не переживай. – Кристина демонстративно закатила глаза. – Ну не выплусь я, и что? В поезде посплю. В конце концов, надо же мне со всеми попрощаться. Девять лет вместе проучились.

– Тебя проводят?

– Да я и сама смогу дойти. Напиваться до беспамятства не планирую.

– Очень надеюсь. Но будет лучше, если тебя кто-нибудь проводит. Если что – вызови такси. У тебя деньги есть?

– На такси хватит. Ну все, мам, пока. Бабушке привет, пусть завтра на вокзал мне вареники не приносит.

Она поспешно завязала шнурки на кедах, схватила сумку, выскользнула на лестницу. Через минуту уже мчалась по залитому солнцем двору. Кристину ждали, и Кристина ждала – вечера, праздника, живости впечатлений. Жадно глотала душистый воздух июня, цветущих каникул, предстоящей новой жизни в Москве.

Сразу после ухода дочери Саша отправилась в ванную. Несколько минут неподвижно стояла под душем, размышляла о Кристинином переезде. Хорошо ли ей будет на новом месте? Скорее всего, хорошо. С женой отца и сводной сестрой Кристина всегда ладила. Да и в новой школе она наверняка без особых трудностей найдет себе друзей. Кристина девочка общительная, бойкая. Все у нее сложится.

Саша прикрыла глаза. Было приятно стоять в густой прохладе воды, ощущать, как успокаиваются горящие ноги, уставшие от ходьбы по торговому центру. Сердце не суетилось, постукивало размеренно, неторопливо, а в темноте под веками проплывали синевато-свежие, словно морские, узоры.

Но внезапно вернулась боль.

Спазм на этот раз был острее, пронзительнее, болевой шуруп вонзился глубже и прокрутился мощнее. К горлу подступила жгучая тошнота. Саша несколько секунд остолбенело разглядывала охристо-желтые квадраты кафеля, машинально принялась их пересчитывать и тут же сбилась со счета. Кафель будто сдавливал ее, сжимал грудную клетку, не давал дышать. Каждый квадрат замыкал Сашу внутри себя.

Когда спазм наконец прошел, она ясно почувствовала, как вдоль позвоночника тонкой прожилкой потянулся страх. Саша непроизвольно напряглась, сжалась всем своим внезапно набрякшим, отяжелевшим телом. Если это пищевое отравление, то она может слечь на несколько дней – так уже однажды было, когда в кафе ей подали несвежий эклер. Но этого допустить никак нельзя, ни за что, невозможно, ведь завтра вечером самолет.

Нет, о плохом думать не надо. Скорее всего, это просто от волнения перед поездкой. Перед желанными, но все же слегка колышущими нервы переменами. Нужно просто несколько раз глубоко вздохнуть, постараться расслабиться.

Саша вытерлась, надела свежее серебристо-голубое платье. На всякий случай проглотила несколько таблеток активированного угля. И отправилась в комнату – заканчивать сборы. Осталось упаковать несколько залежавшихся в недрах квартиры неприметных вещей.

Проходя мимо комода, Саша на секунду притормозила. Заглянула в глубину безмятежного круглого зеркала, равнодушно глотающего комнату, и тут же замерла. Ее лицо было мерт-

венно бледным, словно полностью обескровленным. Неестественная ровная белизна будто насквозь пропитала Сашину кожу.

Впрочем, наверное, эта бледность тоже от волнения, как и боль. Или от временной слабости, от скопившейся в глубине тела усталости. Саша приблизилась к зеркалу и внимательно посмотрела на свое отражение. Кроме побелевшей кожи, все в нем испускало сочный, ослепительно-яркий свет. Комната в зазеркальном пространстве словно горела живым пламенем распущенных Сашиных волос. Кудрявая, струящаяся медь сквозила на просвет тонким золотом. Глаза лучезарно переливались янтарем. А на высоком выступе скулы сладко сияла медовая капля родинки.

Саша поднесла к зеркалу ладонь, удивленная этой неожиданной солнечной встречей с собственным обликом. Ей тридцать шесть, всего тридцать шесть, она еще молода, еще излучает не потускневшую, не тронутую временем яркость. И с завтрашнего дня начинается ее долгожданная *настоящая* жизнь. Все, что было до этого момента, уже не имеет значения. Эта комната, квартира, этот город – всего лишь объемный, разросшийся в пространстве зал ожидания, где Саше нужно было пересидеть пустотелые, пресные годы. Перетерпеть время обязательного земного чистилища. Но теперь пора отправиться в путь, к своему вожделенному, личному Эдему. Туда, где она будет встречать и провожать. Главное – встречать. Пора тронуться с места, оставить позади себя неподвижность перрона, вырваться навстречу внутренней свободе – заслуженной, добытой терпением. После долгого сидения в зале ожидания у Саши все же уцелело много-много жизненных лет, которые она проведет в тихой благодати – чистой и беспричинной. В благодати, рассеянной по воздуху, по окружающим предметам, по плывущим мимо лицам. Это и есть подлинная благодать – не нуждающаяся в поводе безмолвная радость, умиротворение заключенной самой в себе души.

И тут боль накрыла Сашу с головой и уже не отступила, не отхлынула обратно в темноту бесчувствия. Это была неотвратимая, безудержная мощь чего-то страшного и недоступного пониманию. Саша сгорбилась, сцепила руки на животе, медленно опустилась на колени. И тут же рухнула всем телом на теплый пол, пропитанный солнцем. Волнистые медные пряди разметались по сияющим ромбам паркета. Словно заструились собственным, отдельным от Саши течением.

Боль разливалась по животу стремительным густо-красным кипятком, застывала, затвердевала, вытягивалась в разные стороны острыми углами. Воздух вокруг вспыхивал красным – сначала ярким, рябиновым, затем все более темным, густым, почти бордовым. Запечатанные коробки, опустевший комод с зеркалом, старенький раскладной диван – все становилось зыбким, почти призрачным; все погружалось в плотный темно-красный свет.

Саша кричала. Перекатывалась с боку на бок от горячей многоугольной боли и неистовым криком взывала к равнодушной пустоте квартиры. Ее крик был протяжным, тягучим, раздирающим горло. Вылетев из Саши, он легчал, возносился к потолку и невесомо парил возле люстры – горящей не своим привычным, приглушенно-желтым светом, а все тем же густо-красным. Спустя несколько минут крик превратился в надсадный гортанный хрип. Саша была почти без сил и все продолжала хрипеть – с самого дна глубокого осиплого изнеможения.

На долю секунды она подумала, что это, возможно, аппендицит. Но тут же вспомнила, что аппендикс ей удалили много лет назад. Зимой, когда ей было десять, за неделю до маминого дня рождения. И в сознании со всей ясностью зачем-то всплыла больничная палата, где она лежала после операции. Саша четко увидела шершавую болотно-зеленую стену, казенный под одеяльник в мелкий цветочек и широкое незанавешенное окно. Вспомнила, как густела снаружи стылая январская чернота. Внизу, во дворе, зябко дремали фургончики скорой помощи; время от времени проплывали береты и меховые шапки. А в свете фонарей суетливо и как будто потерянно кружились редкие разобщенные снежинки.

Но если это не аппендицит, то что же тогда? Все мысли скатывались в плотные тугие комки, застревали на полпути к сознанию, увязали в густо-красной боли.

Где-то бесконечно далеко раздалась музыка забытого Кристиной телефона. Радужная переливчатая мелодия с трудом продиралась сквозь Сашин хрип – словно через липкую тягучую паутину. Возможно, телефон звонил на кухне. Или в прихожей. Ощущение пространства стремительно ускользало, и было уже не вполне ясно, что где находится. Саше казалось, что ее исключили из реальности, из этой привычной спокойной квартиры, наполненной простой обыденной мебелью. Кто-то большой и невидимый с ловкостью вырезал ее раскаленными ножницами – ровно, по контурам. И теперь она существует отдельно от собственной комнаты, от топей за окном, от невозмутимо льющейся мелодии звонка.

Боль тем временем обострялась и разрасталась внутри. Дышать становилось тяжелее, и хрип делался все более сдавленным и прерывистым. Все более беспомощным. Стены комнаты будто постепенно сдвигались, будто собирались сдавить Сашу, замуровать ее заживо. Узоры из тонких, едва различимых листиков вдруг резко очертились и начали склеиваться. Со всех сторон Сашу обступила тяжесть комнатной мебели – слепой, безучастной, живущей собственной внутренней жизнью.

Тело словно выворачивалось наизнанку. Словно стремилось вытолкнуть из себя какой-то лишний, непонятно откуда взявшийся орган. Или, возможно, просто больной, расхлябанный, пришедший в негодность. И Саша рефлексивно напрягалась, пытаясь помочь этому больному органу побыстрее вырваться наружу. Плюхнуться на пол склизкой кровавой мякотью. Чтобы мучения как можно скорее закончились.

Стены приближались, воздуха оставалось все меньше, а над головой по-прежнему раскачивался густо-красный свет. И тут боль наконец достигла своего максимума, и в этот момент весь мир, все бытие стало Сашиним животом, рвущимся от боли. Июньское солнце, сегодняшний торговый центр, зеленеющий возле центра сквер, грязно-бежевый родной вокзал, Анимия, прожитые и грядущие годы – все превратилось в невыносимо болящий живот. И Саша начала ждать того мгновения, когда можно будет отделиться от собственного живота, оставить на полу свое неподъемное тело. Выпорхнуть в окно, пролететь над раскаленными, гудящими от зноя крышами, над хрустальными озерами, над безбрежными полями, алеющими кровавыми каплями маков... Казалось, что миг освобождения уже близок. Даже склеенные узорные линии на обоях как будто расступились, приоткрывая новое, потустороннее пространство, приглашая выбраться из давящей комнаты.

Если это не аппендицит, то что же, что же тогда? Саша не знала ответа. Но перед тем, как рухнуть в гулко-черный колодец беспометства, она вдруг смутно почувствовала, что эта комната, квартира, этот город – вовсе не зал ожидания, как ей казалось, а платформа прибытия. Даже если Саше каким-то чудом удастся выкарабкаться, вырваться невредимой из этой безмерной боли, поезд ее жизни никуда больше не поедет. Он прибыл на конечную станцию. И холодный, отстраненный голос свыше совсем скоро попросит освободить вагон.

2. Так бывает

Когда Саша начала приходить в себя, над ней возникли размытые человеческие фигуры и раздались невнятные, как будто далекие голоса. Ни лиц, ни слов разобрать не получалось. Саша медленно выныривала из внутренней бессознательной черноты, всплывала к ясной, наполненной разговорами и жестами действительности. Но сознание то и дело ускользало, стремилось уплыть куда-то в сторону от яви. У Саши возникало ощущение, что она лежит в бархатистой густой траве, покрытой росой, на самом дне прохладного летнего леса. Склонившиеся над ней люди казались деревьями, а их голоса – смутным гулом ветра в раскидистых пышных кронах. Тяжелые волны листвы шелестели убаюкивающе, ласково, сливались с мерным шумом крови в голове. А в узорных лиственных прорехах сияло лучистое лесное солнце.

– Мне такие сюрпризы уже не по возрасту. – Сквозь ветряной гул проступили слова, очертились знакомые интонации. – Тоже мне, сюрприз.

– Бабушка, ну хватит уже. Сейчас она проснется и все нам объяснит.

И вновь пространство над Сашей наполнилось ровным невнятным шорохом листвы. Человекообразные деревья склонялись, шелестели, накрывали тенью. Пробуждаться не хотелось. Хотелось до бесконечности лежать во влажной лесной траве и смотреть на сверкающее солнце, засевшее в кронах.

Но внезапно возник отчетливый незнакомый голос – низкий, с переливами, словно глубокий изумрудный цвет:

– Да уж, ей пора бы проснуться, честно говоря.

И тогда Сашин сон распался, истаял. Солнечный лес растворился в ясно видимой, окончательно вернувшейся реальности. Сначала появились растрепанные Кристинины волосы, хрупкие ключицы в темно-зеленом треугольнике выреза. Затем из снотворного тумана выплыло мамино лицо – тревожное и желтоватое, будто церковный воск. И, наконец, четко прорисовался громоздкий угловатый силуэт незнакомца мужчины в белом халате. Видимо, врача.

Саша лежала на больничной кровати. Лесное солнце обернулось длинной люминесцентной лампой, стрекочущей, как целый рой цикад. А роса на траве превратилась в бисерные капли пота, покрывшие ровным слоем сонное Сашино тело.

– Мам, ты очнулась, ты как, ты в порядке? Тебя в больницу привезли, в первую городскую, ты в палате.

Кристина волновалась, тараторила. Ее голос нервно подрагивал и при этом как-то жалостно брнчал – словно сиротливая монетка в пустой копилке.

Саша попыталась приподнять голову, кивнуть в ответ, но в итоге лишь медленно моргнула. Живот еще немного ныл изнутри от догорающей, будто округлившейся боли.

– Мы тут чуть с ума не сошли, – с негодованием бросила мама.

В палате густо пахло поврежденным телом, незамкнутым, разъятым кожным покровом. Или раненой слизистой оболочкой. Солоноватый, темный, кровавистый запах. Очень физиологический. Саша подумала, что раз она в больнице, то, возможно, с ней что-то серьезное. Например, болезнь Крона или даже онкология. А может, какое-нибудь редкое, почти не изученное заболевание?

– Александра Валерьевна, почему скорую не вызвали? – изумрудно-глубоким голосом спросил врач. – Думали, сами как-нибудь справитесь?

– Да, мам, действительно, почему? Хорошо еще, что я телефон забыла и вернулась. А иначе неизвестно, как бы все закончилось. Это же опасно, вот так, одной, без помощи!

– Даже дочь твоя в шестнадцать лет и то сообразительнее тебя!

– Я... я не знаю, – полушепотом сказала Саша и на пару секунд прикрыла глаза. Изнанка век тут же замелькала солнечными пятнами на паркетных ромбах, лиственными узорами на оголившихся кремовых обоях.

– А не помешало бы знать, в такой-то ситуации, – недовольно пожал плечами врач. – Ладно, что уж теперь. Чувствуете себя как? Живот болит? Голова кружится?

– Немного...

Было очень жарко и в то же время знобило. Саша медленно повернула голову в сторону окна с открытой форточкой. На сквозняке дрожали бледные полупрозрачные занавески. Рядом с окном было что-то еще, что-то пестрое, неопознанное, никак не достигающее Сашиного сознания.

– Александра Валерьевна, вы вообще где наблюдались?

– Не поняла... Наблюдалась – в каком смысле?

Саша перевела взгляд обратно на врача. У него были крепкие скулы, тяжелый, заштрихованный темной щетиной подбородок, большой мясистый нос. Брови мохнатые, почему-то сдвинутые. Глаза усталые, с покрасневшими белками, опутанными множеством тоненьких веточек-прожилок.

– В самом прямом. В районной консультации, в частной клинике? Где?

При этих словах Саша почувствовала, что внутри нее зарождается что-то странное, невнятной природы. Не тошнота и не боль. Что-то скользкое и холодное; нечто такое, о чем совсем не хотелось думать.

– Я не поняла... Почему я должна была наблюдаться? Я чем-то больна? Чем-то страшным?

– Я вашей карты не видел, про ваши болезни ничего сказать не могу.

– Тогда почему?..

Врач устало и как будто удрученно вздохнул, с раздражением потер переносицу.

– Вам вроде уже не семнадцать лет. Да и дочь у вас есть, почти взрослая. Вы издеваетесь надо мной? Хотите сказать, вы не знали, что нужно было наблюдаться?

– Зачем?..

И тут внезапно врач повысил голос, тут же потерявший свои изумрудные переливы, и кивнул в сторону окна:

– Чтобы он здоровым на свет появился.

Саша сразу обильно взмокла: бисерные капли пота превратились в быстротечные извилистые ручьи. Из желудка поднялась волна жара, а кожа молниеносно покрылась острыми мурашками.

– Если бы не Кристина, он бы сейчас лежал не здесь, – проскрежетала мама. – А в лучшем случае – в реанимации. Скажи спасибо дочери, что скорую вызвала. Как сама-то не додумалась? Тоже мне, мать называется. Вот, любуйся.

И Саше ничего другого не оставалось, как вновь повернуть голову. И на этот раз она *увидела* мальчика. Он крепко спал за стеклянным бортиком кровати, в серой шапочке, под синим одеяльцем с кувыркающимися дельфинами. Розовощекий, маленький, сморщенный, словно высохшее яблоко. Невозможный, ненастоящий, чужой, нет, нет, не Сашин.

– Он же прямо на полу валялся, когда я вошла, – звякающим, монетным голосом сказала Кристина. – Весь в крови. Липкий, какой-то не то синий, не то фиолетовый, ужас! И вопил при этом так, что с лестницы было слышно! Я еще подумала, когда поднималась: у соседей, что ли?

– У соседей?.. – машинально, со дна окаменелой безотчетности переспросила Саша. Из плотного речевого марева она выловила лишь последние слова.

– Ну да, у Кострюковых. А когда вошла в твою комнату и увидела там младенца, глазам не поверила. Ты тоже на полу лежала, почти без сознания. Несла что-то несвязное. Я и сама чуть

в обморок не грохнулась. Мам, объясни, почему ты не говорила нам ничего? Мы же вообще не в курсе были!

– От своих родных такое скрыла, – остро и ржаво скрипнула мамина фраза.

Саше захотелось обратно в сон. Туда, где колышутся кроны, где шелестят неразличимые сочно-зеленые голоса. Она крепко, изо всех сил зажмурилась, будто пытаясь вдавить себя внутрь, загнать в глубину забытья.

– Ребенка вашего, конечно, понаблюдать нужно будет, – продолжил врач. – Все-таки два четыреста всего, маловато. Да и гипоксия была. Через пару часиков к вам неонатолог Мария Марковна заглянет, с ней на этот счет поговорите.

– Да, мам, смотри, он же совсем крошечный!

Саша разжала веки и села рывком, собрав воедино жалкие крохи сил. Перед глазами все поплыло, ярко вспыхнуло алое крошево, завертелись пурпурные нити.

– Что это за розыгрыш?.. – застонала она хрипло, сдавленно, до боли сжимая виски. – У меня самолет, мне собираться надо. И ты, Кристина, почему ты не уехала? Сколько вообще времени?

– Мам, успокойся. Ляг, пожалуйста. Я никуда не поеду. В ближайшие дни, по крайней мере.

– У тебя же билет на поезд! На восемь утра. А у меня самолет в девятнадцать сорок. Мне здесь делать нечего. Я уже нормально себя чувствую, где мои вещи?

Внезапно Саша заметила на простыне свежее кровавое пятно. И наконец осознала, что солоноватый физиологический запах исходит от нее. От ее надорванного тела.

– На самолет ей надо, видите ли, – сказала мама все тем же острым металлическим голосом, как будто тронутым ржавчиной. – Хотела скрыть от нас и улететь? Чтобы разродиться уже там, далеко? Чтоб никто не узнал? Да вот не получилось!

– Бабушка, ну перестань! Видишь, в каком она состоянии? Ей отдохнуть надо. Пойдем пока, выпьем чаю, тут есть кафе на первом этаже. Она успокоится, мы вернемся и поговорим нормально.

– Прекрасно! Моя дочь родила втихомолку, а я буду как ни в чем не бывало чаи гонять!

– Идите, правда... – утомленно вздохнул врач. – Ваша внучка права. Вам всем не мешает успокоиться.

– Да ладно, ладно, пожалуйста! Тут, я вижу, и без меня обойдутся.

Мама резким движением поправила на плече ремешок сумки и, не оборачиваясь, вышла из палаты. Кристина тут же выпорхнула за ней следом. И еще несколько долгих секунд сквозь приоткрытую дверь доносился негодующий скрежет интонаций.

– Ну так что, Александра Валерьевна, – вновь раздался после паузы изумрудно-глубокий голос. – Вы так и не ответили. Где наблюдались? Где ваша обменная карта?

Саша снова смотрела на мальчика. Потерянным, оцепенелым взглядом. Мысли разбежались в голове в разные стороны, копошились безумными торопливыми муравьями. И при этом упорно огибали стоящую совсем рядом стеклянную кровать со сморщенным человеческим свертком внутри. Думалось об открытой форточке, о скомканном одеяле в ногах, о новых мокасинах, о нераспечатанном посадочном талоне. Обо всем, что осталось на периферии. Но не о мальчике, не о болезненном эпицентре разрастающегося кошмара, только не о нем. Думать о мальчике было невозможно.

– У меня ее нет, – прошептала Саша. – Обменной карты... Нет.

– Как так получилось? Потеряли?

Саша медленно покачала головой.

– Просто нет. Вообще нет.

– И почему же вы, будучи беременной, не озаботились получением обменной карты?

– Так ведь я не беременна.

– Ну сейчас уже, понятное дело, нет. Но когда были, почему не оформили?

– И не была. То есть была, но давно... Когда ждала дочь. И тогда мне обменную карту, кажется, выдавали, да... А с тех пор нет.

Врач долго молчал. Саша отвернулась от невозможного, несуществующего ребенка и устала в молочно-белую стену. Секунды наслаивались друг на друга, время разбухало в этом странном тревожном молчании, словно крупа в молоке – в сыром и холодном молоке стены.

– Я сейчас не про дочь вашу говорю, а про сына.

– Да нет у меня никакого сына! – воскликнула Саша. Чуть не захлебнулась собственным вздохом – судорожным, рваным.

В этот момент в палату вошла медсестра. Завезла бренчащую, нагруженную пробирками и шприцами тележку.

– Здравствуйте, Вадим Геннадьевич, вот вы где! – прошептала она в сторону врача и тут же повернулась к Саше. – Ну что, мамочка, пришли в себя? Как самочувствие? Давайте-ка я у вас кровь на анализ возьму и давление померю.

Саша тяжело дышала, с напряжением слушала, как волны крови омывают сердце гулким прибоем. Волны горячей, бурлящей крови, которую нужно взять на анализ.

– Левую ручку вытягиваем, кулачок зажимаем.

Внутри все распирало, отчаянно хотелось выскочить, вырваться из себя, из собственного тела. Медсестра ловко натянула перчатки, протерла спиртом Сашину кожу в локтевой ямке. Надорвала упаковку шприца. Деловитая, быстрая, легкая. Безупречная в движениях. Глаза чистые, ярко-голубые, как больничные бахилы.

– С самочувствием у мамочки не очень, – запоздало ответил за Сашу врач.

– Ничего-ничего. Отдохнет, выпится, чайку травяного попьет. И все наладится. Подтвердите, Вадим Геннадьевич.

Вадим Геннадьевич не подтвердил. Он молча и напряженно смотрел в окно, за которым висело стылое пасмурное небо, набухшее подступающим дождем.

– Кулачок сильнее сжимаем.

Медсестра поднесла иглу совсем близко к едва различимой голубоватой вене, и Саша вдруг дернулась, резко отняв руку.

– Мамочка, ну что же вы! Это ведь быстро и не больно. Ручку сюда дайте и не вырывайтесь. Вы же не в первый раз, наверное, кровь сдаете?

Ее голос казался одновременно приторно сладким и твердым. Словно колотый крупными кусками сахар.

На просьбу Саша не отреагировала. Крепко прижала руку к груди и отвернулась. Несколько секунд неподвижно смотрела в пространство, барахтаясь внутри себя в мутной безмолвной пустоте.

– Мамочка, миленькая, ну побыстрее, пожалуйста. Вы же не одна у меня такая. Да и Вадиму Геннадьевичу еще на обход идти. Давайте. Сдадите кровь, мы уйдем, и будете спокойно на своего ребеночка любоваться.

И тут застывшая, оцепенелая Саша неожиданно вскочила. Крупно затряслась, будто от внезапного нестерпимого холода.

– Да что это за бред, в конце-то концов! – закричала она надрывно, иступленно, словно пытаясь вытолкнуть из легких разъедающее едкое отчаяние. – Нет у меня никакого ребеночка!.. У меня есть дочь, Кристина, но она уже почти взрослая, ей шестнадцать лет... Я ее уже вырастила, и она уезжает в Москву, к отцу! У нее поезд в восемь утра. А у меня самолет!

Саша оттолкнула медсестру и выскочила из палаты. Бросилась бежать в неизвестном, случайно выбранном направлении – главное, подальше от невозможного, несуществующего мальчика, от неподъемного абсурда. Коридор раскачивался под ногами, густо-синие волны лино-

леума то поднимали ее к самому потолку, к стерильному свету ламп, то кидали обратно вниз. Иногда отбрасывали в сторону, к ряду пустующих розовых диванчиков, похожих на беззубые детские десны. Мимо проплывали люди – неразличимые, туманные, как будто даже бестелесные. Человеческие тени, сотканые из тяжелого непрозрачного воздуха.

Добежав до лестницы, Саша остановилась. Коридор резко оборвался, обернулся бескровно-белой площадкой и такими же бескровно-белыми ступенями, ведущими вверх и вниз. Слева возникло огромное окно, а за окном – пятиэтажное здание, погруженное в зыбкую сероватую дымку. На улице моросило. Словно муть всего происходящего сгустилась до блеклого дремотного дождя, заполнившего собой пространство.

В здании слева некоторые окна горели прямоугольным напряженным светом. А внутри Саши, казалось, не горело уже ничего. В душу внезапно ударила гулая темнота, не подсвеченная даже больничными безжизненными лампами. Саша будто проваливалась в бездонный колодец с гладкими бетонными стенами.

Где-то хлопнула дверь; вверх по лестнице суетливо пробежал кудрявый юноша в белом халате. Саша опустила глаза, посмотрела на свои босые мозолистые ноги. На казенную сорочку, испачканную темной, уже подсохшей кровью. Подумала, что все ее вещи, должно быть, лежат в палате, рядом с безумным, бредящим врачом, безумной медсестрой; рядом с абсурдным, невыносимым ребенком. И заплакала от давящего бессилия, подступившего к горлу.

К Саше медленно и неохотно приблизилась пожилая работница регистратуры. Заспанная, устрично-студенистая, апатичная. Будто набитая изнутри чем-то мягким и сонным.

– Что с вами? Что тут у вас случилось? – спросила она усталым голосом.

Ответить было нечего. Саша не понимала, что с ней случилось. Она молча глотала крупные соленые слезы, теребила рукав застиранной дымчато-серой сорочки.

– Успокойтесь, придите в себя.

На бугристо-отечном лице служащей проявилось вялое раздражение. *Придите в себя, придите в себя* – перекатывалось по краю сознания тяжелым эхом. Саша прикрыла глаза и тут же унеслась на лодке головокружения в свою комнату. В памяти вновь нарисовались кремовые обои, очертились паркетные ромбы с растекшимся, словно подтаявшее сливочное масло, солнцем. И вдруг в этом теплом текущем свете появился младенец. Крохотный, сморщенный и совершенно нелогичный, непостижимый.

– Я не знала... ребенок... правда, не знала, – бормотала Саша сквозь слезы.

– Что-то не так с вашим ребеночком? Больным родился?

– Я не знаю, почему... я не...

Взгляд служащей немного подобрел. Она положила Саше на плечо сыровато-мягкую, будто бескостную руку.

– Просто успокойтесь. Так бывает. На все воля свыше.

Рядом внезапно оказалась медсестра из Сашиной палаты, стала оживленно говорить, жестикулировать. Регистратурная работница смотрела на нее и сонно качала головой. Затем снова перевела взгляд на Сашу и что-то тягуче произнесла в ответ.

Бисерный морозящий дождь за окном тем временем превратился в ожесточенный ливень. По стеклу побежали потоки небесных слез, словно обезумевший, утративший логические опоры, перевернутый мир заплакал вместе с Сашей от беспомощности и отчаяния.

– Ну что же вы, мамочка, такая нервная?... – доплыло до Сашиного сознания. – Кричите, шумите, от нас с Вадим Геннадичем убегаете.

Подожли еще какие-то люди, оттеснили медсестру, начали что-то выяснять у регистратурной служащей. Что-то явно не связанное с Сашей. Их голоса то струились ручьями, смешиваясь друг с другом, то сочились по капле, замирая на полужвуке. Саша вздрагивала, захлебывалась слезами. В какой-то момент она вдруг остро ощутила свою теплую, беззащитную, травмированную плоть. Саднящее живое нутро под вспотевшей кожей, под серой больничной

сорочкой. И Саше стало мучительно жаль свое тело, особенно ноющий живот. Она осторожно погладила его костяшками пальцев, будто постороннее, самостоятельное, незаслуженно страдающее существо.

Медсестра взяла Сашу под руку и повела обратно по коридору. Потянула за собой – мягко, но настойчиво.

– Вам ведь лежать нужно, – сказала она своим твердо-сахарным голосом. – Зачем же вы скачете. Вы подумайте о себе, о своем здоровье, вам же ребеночка растить.

Но думать не получалось, все мысли стали свежими разверстыми ранами, культями ампутированных жизненных планов.

3. Привратница

В девяностые годы Сашин отец Валерий Федорович Есипов – кандидат химических наук, доцент кафедры высокомолекулярных соединений Химического факультета Государственного университета города Тушинска – был вынужден работать в вокзальном газетном киоске. Ситуация складывалась тягостная, горькая. Заводскую зарплату жены Ларисы все чаще выдавали телефонными аппаратами, доцентскую зарплату не выдавали вовсе, а дочка росла, вырастала из старой одежды, хотела новые осенние сапожки, новый пенал. И науку пришлось вырвать из повседневности, отложить на самое дно суетливого, хлопотного существования, с надеждой когда-нибудь ее оттуда достать. К сожалению, достать науку обратно и вернуть в свои будни Валерию Федоровичу так и не удалось. Тяжело провалившись в подвальную темноту жизни, она очень быстро сопрела, сгнила, распалась на атомы.

А наверху тем временем пестро цвела киосочная душа. Распускалась яркими коммерческими красками, торжествующе шелестела журнальными страницами и целлофановыми обертками. Помимо газет и журналов, в киоске Валерия Федоровича продавались шариковые ручки, зажигалки, календарики и постеры с изображением зарубежных артистов, брелоки в виде сердечек с маслянистой жидкостью и блестками внутри; неизменные, наводнившие рынок шоколадные батончики и фруктовые жвачки со вкладышами, а также всевозможные игрушки – от тетрисов и «волшебных экранов» до липких мячиков «лизунов» и радужных пружинков.

Валерию Федоровичу было непомерно тяжело находиться в киосочной сердцевине, среди всей этой давящей разнородной пестроты, расколовшей его *настоящую* жизнь, словно плоскогубцы грецкий орех. Каждый раз глядя на аккуратно разложенные бестолковые товары, он ощущал мучительную горечь, и в той опустевшей части сердца, откуда ему пришлось выдернуть с кровью свое научное призвание, сквозило мертвым холодком. А вместе с аляповатым киосочным духом Валерия Федоровича тяготил и дух вокзальный. Две эти сущности крепко связались в его сознании, стали практически неразделимы. Разноликая многоголосая суэта, бурлящая вокруг его постылого островка торговли, была не менее тягостна, чем сам островок.

Но для маленькой Саши вокзал девяностых годов был лучшим местом ее жизни. После уроков она сразу мчалась к отцу на работу. В ущерб забавам, играм и легковесной болтовне с одноклассниками, так и не ставшими ей подругами. Набросив потертый ядовито-желтый ранец на одно плечо, Саша вихрем летела через осенние скверы, тепло и пряно пахнущие мертвой листвой. Свободно плыла сквозь туманный кисель декабрьских сумерек, воздушно скользила по мерзлым солнечным улицам января. Либо весело хрустела тонкими ледяными косточками мартовских луж, выпуская наружу темную кровь уходящей зимы. И внутри Саши горячо пульсировало беспримесно чистое детское счастье.

Дорога занимала обычно без малого полчаса – почти тридцать минут живого радостного предвкушения. Прибежав на вокзал, Саша молниеносно пробиралась сквозь густое многолюдное варево к отцовскому киоску. Плюхалась на раскладной табурет или, например, нераспакованный ящик с шоколадно-вафельными батончиками «Темпо», с пакетиками «Инвайта». Торопливо пересказывала отцу школьные новости, жадно хлебая сладкий «Пиквик» из термоса. Валерий Федорович слушал внимательно, с нежным чутким интересом. Прятал свою неизбывную терпкую горечь подальше от Сашиних глаз, в глубокую внутреннюю темноту. И горечь тянулась в потемках – скрытая, невидимая, – словно проводка в стене.

Конечно, несмотря на поверхностно-гладкую отцовскую безмятежность, Саша подозревала, что ему тяжело. Смутно чувствовала, что внутри себя он отгораживается, замыкается, чернеет, зарастает крупными густыми сорняками. Но это подозрение всегда оставалось где-то на периферии чувствования, за пределами беспечных, наполненных трепетной радостью буд-

ней. Саша не подпускала мысль об отцовской жизненной драме слишком близко к своему хрупкому, легкоранимому сознанию. Не давала этой мысли ясно очертиться в голове. Ей отчаянно, всеми фибрами души хотелось не омрачать свое пребывание на вокзале. Свою единственную полновесную отраду, милостиво подаренную кем-то свыше.

После рассказа о прошедшем школьном дне Саша отправлялась к перронам – встречать поезда. Готовиться к появлению грязно-зеленых, облезло-ржавых вагонов, таящих в себе неведомых пассажиров.

Больше всего на свете маленькая Саша любила ждать. Прослушав объявление о прибытии, она с упоительным волнением вглядывалась в завокзальную расплывчатую даль. Затаив дыхание, стояла в суматошной толпе встречающих. Мысленно утопала во всеобщем воодушевлении, слушая обрывки посторонних жизней из торопливых рубленых разговоров, проносившихся мимо. Вдалеке раздавался слабый гул, проступал зыбкий контур головного вагона. Затем гул постепенно уплотнялся, крепчал, перрон вздрагивал, и наконец подплывал тяжелый усталый состав, набитый всевозможными – чаще всего нескладными, незадачливыми – человеческими судьбами.

Двери вагонов распахивались, и поезд будто с облегчением выдыхал, освобождаясь от скопившегося живого груза. Люди выскальзывали – в полупрозрачную сумеречную серость, в колючий сизый мороз, в липкую томительную духоту. Сливались со встречающими, передавали объемные потрепанные сумки, раскосыми волнами перекачивались к выходу в город. Людское море вокруг гудело нестройно, неслаженно, словно оркестр во время настройки перед концертом.

И каждый раз Саша придумывала судьбы прибывшим пассажирам. Случайно выбранным из толпы. Представляла, зачем и почему они приехали в Тушинск.

Вот, например, та женщина – плечистая, угловатая, с тяжелым макияжным лицом, в сиреновом пиджаке с крупными перламутровыми пуговицами, – она решила перебраться из родного поселка в более крупный город. Оставить работу школьного библиотекаря с непостижимо мизерной, издевательски нищенской зарплатой и попробовать себя в торговле. Как Сашин папа. Только в отличие от Сашиного папы она еще наполнена иллюзорным предвкушением новой, энергичной, красочно-сытой жизни. Позади нее осталось все закисшее, унылое, устаревшее. Закисшие, покрытые удушливой пылью книги про советских образцовых детей; закисший, утопающий в беспробудном апатичном пьянстве бывший муж; закисшая, безвольно распавшаяся страна. Все уткло в сонное, инертное прошлое. И вот она бодро шагает по платформе навстречу солнечному апрельскому дню, остро пахнущему молодой травой и надеждой. Решительно тащит за собой увесистую клетчатую сумку и громоздкий чемодан с отвалившимся колесиком.

Или вот – сквозь сухой морозный воздух, сгустившийся до сини, идет уже бывший, уже отчисленный студент московского инженерно-строительного института. Бедолага, заваливший зимнюю сессию из-за несчастной любви. И теперь он возвращается в родной Тушинск, обратно под родительское крыло. Родители, правда, сейчас на работе, а встречает его старшая сестра, успевшая обзавестись мужем-бизнесменом и превратиться в эталонную домохозяйку. Она ждет беспутного брата не на платформе, а в здании вокзала, возле касс. Сегодня холодно, и ей не хочется покидать нагретого вокзального нутра. Она, наверное, сейчас нетерпеливо цокает тонкими каблучками по грязно-бежевой плитке, раздраженно теревит круглую, кофейного цвета пуговицу на сливочном пальто. А бывший студент идет боязливой нетвердой походкой, словно осторожно выбирая место для каждого нового шага. У него приторно-моло-

дое лицо: девичьи пухлые губы, девичья пышная челка из-под вязаной шапки, растерянные телячьи глаза. Он безотчетно глотает мелкие острые снежинки, внезапно наполнившие воздух; с тревогой думает, как отреагируют на его приезд родители и что вообще теперь будет с его неуклюжей, несуровой жизнью. За плечами у него спортивный рюкзак с прицепленным крупным брелоком в виде пистолета. При каждом шаге пистолет вздрагивает, бьется, будто дополнительное наружное сердце – такое же тяжелое и тревожное, как внутреннее.

А вот из последнего вагона под тихий вечерний дождь выходит совсем потерянный, опустошенный мужчина. Он словно весь состоит из хрупкого полупрозрачного стекла, покрытого тонкими трещинами. К нему медленно подходит пожилая женщина – его мать. Сгорбленная, будто слегка придавленная сверху. Саша четко видит их обоих в сочно-оранжевом свете фонарей. У матери морщинистое, смуглое, очень мягкое лицо, словно намокшая курага. Печальные выцветшие глаза. И под левым глазом застывшей, окаменелой слезой грустно светлеет бородавка.

Они не виделись почти девять лет. Почти девять лет назад мужчина уехал из родного Тушинска, женившись на парикмахерше с двумя детьми. Обосновался в далеком промышленном поселке городского типа. С родителями-интеллигентами, горячо невзлюбившими парикмахершу, решительно порвал всякую связь. А два дня назад узнал о внезапной смерти отца. Подскочило давление, разорвался сосуд – *геморрагический инсульт* (прямо как у соседки снизу в прошлом году: Саша запомнила название).

Он взял билет на ближайший поезд. И вот они с матерью идут по платформе, сквозь еле слышный шепот вечерней мороси. Хлипкие, неустойчивые – неуклюже клонятся вперед и куда-то вбок, будто пытаясь опереться на влажный осенний воздух, на фонарный свет, на собственные зыбкие отражения в тоненьком блеске луж. Они не смотрят друг на друга, задумчиво и тяжело молчат. Подобрать слова слишком трудно, почти невозможно. У обоих в груди кровоточит девятилетняя дыра, гноится, болит, намокает от дождевых капель.

Сезоны сменялись, пассажиры все прибывали, обрастали в Сашином воображении переживаниями, мыслями, жизненными событиями. Некоторые, выходя из вагона, мрачнели, погружались в густую непроходимую вязь внутри себя; другие – как фантазировала Саша – с нахлынувшей едкой болью вспоминали прошлое, принимались расчесывать до крови старые обиды; третьи, наоборот, внутренне расправлялись, словно пружины, в нетерпеливом предвкушении чего-то нового, неиспытанного. И Саша безуданно встречала своих непохожих друг на друга незнакомцев, с упоением глотала вокзальный воздух, пропитанный железистым привкусом рельсов и шпал. Замирала перед открытием вагонов, наполненных еще не родившимися, но уже зарождающимися в глубине воображения историями. И ей было бесконечно хорошо стоять вот так в стороне, чувствовать в груди теплые толчки сердца и ждать.

А однажды произошло удивительное.

В мае, когда Саша заканчивала пятый класс, одним солнечным вечером из прибывшего поезда вышел молодой человек. В джинсовой куртке, с коричневой дорожной сумкой через плечо. Умиротворенно огляделся по сторонам и зашагал по платформе неторопливой, расслабленной походкой. У него были аккуратно узкие черты лица: тонкий нос, ровно очерченные скулы, слегка заостренный подбородок. Взгляд излучал поразительное, нездешнее спокойствие. Далекое от суетливой нервной массы остальных пассажиров. Весь его облик казался тихой водной гладью – избавленной от малейшей ряби и невозмутимо впитывающей опрокинутое небо.

Саша всматривалась в его образ и все никак не могла представить, зачем, по какому поводу он приехал в Тушинск. За спокойствием не получалось разглядеть ничего, кроме разве

что легкой тени сдержанного любопытства. В итоге Саша решила, что он просто приехал посмотреть город, познакомиться с местными достопримечательностями, хотя, разумеется, это было абсолютно неправдоподобно. Молодой человек остановился возле продуктового ларька, неспешно закурил, глядя куда-то за пределы вокзала – в сторону заброшенной мебельной фабрики, сверкающей осколками заката в разбитых стеклах. А Саша сдалась, бросила тщетные попытки придумать более вероятную цель его приезда. С легким разочарованием вернулась внутрь, к отцовскому киоску. До следующего поезда оставалось почти полчаса, и она как раз успевала доделать домашнее задание по математике.

Однако едва Саша уселась на ящик с каучуковыми мячиками и раскрыла болотно-зеленую, отмеченную липким чайным кругом тетрадь, как молодой человек из поезда возник совсем рядом с киоском.

– Вечер добрый, – сказал он уютно мягким, войлочным голосом. – Путеводитель по городу у вас найдется?

Валерий Федорович посмотрел в ответ с настороженным, задумчивым удивлением. Словно ожидая подвоха.

– По какому, простите, городу?

Молодой человек улыбнулся. Вблизи Саша увидела, что у него карие глаза и сладко-теплый взгляд. Будто крепкий свежесваренный чай с кусочком сахара.

– По Тушинску. Я ведь в Тушинск прибыл, верно? Не перепутал станции?

– Не перепутали, – растерянно покачал головой Валерий Федорович.

– Ну так вот. Ищу путеводитель, хочу посмотреть город. Местные достопримечательности.

При этих словах Саша невольно вздрогнула, оторопела, мысленно замедлилась. Словно внутри нее сорвалась с места и покатилась в мерзлую пустоту какая-то деталь.

Валерий Федорович развел руками. Путеводителя по Тушинску не только не было в его киоске, но и, скорее всего, не существовало в природе. За ненадобностью. Никто никогда не приезжал сюда просто «посмотреть город», эту тяжеловесную, бесхарактерную, застывшую в бетоне унылость. В Тушинске иногородние жители оказывались в основном по долгу службы, по тягостной рабочей необходимости; некоторые навевались в гости к знакомым и родственникам – в пепельно-серые дремотные хрущевки; другие приезжали поступать в местный, тоже пепельно-серый, университет, где Валерию Федоровичу когда-то посчастливилось работать; обитатели соседних поселков иногда пытались пробиться на прием в местные поликлиники, чуть лучше оснащенные по сравнению с областными... Но чтобы кто-то заявлялся в Тушинск ради «достопримечательностей» – такое казалось чем-то запредельным, фантастическим.

– Простите. Путеводителей, к сожалению, не держим.

– Может, хотя бы карта найдется?

Молодой человек говорил все так же спокойно и мягко. В неспешных интонациях звучала густая протяжность, уютная медовая тягучесть. А Валерий Федорович скованным, как будто извиняющимся жестом обвел свой киоск и горько усмехнулся:

– Карты есть разве что игральные, с персонажами «Санта-Барбары».

– Благодарю, но играть мне не с кем, путешествую без попутчиков. Удачного вам завершения дня, пойду искать путеводитель дальше.

С этими словами он невозмутимо зашагал к выходу из вокзала, постепенно исчезая из поля зрения, теряясь в плотно спрессованной гомогенной толпе.

А Саша с того дня перестала наделять прибывающих пассажиров индивидуальными судьбами. Сочинять для них личные, обособленные цели приезда, отдельные жизненные обстоятельства. Саша стала представлять, что все они приезжают в Тушинск ради самого Тушинска. И что ей выпала роль встречать их у платформы, принимать на пороге города.

Поезда привозили теперь толпы туристов, желающих прогуляться по улицам Механизаторов и Новой Колхозной; сфотографироваться возле алюминиевого, тонированного под бронзу бюста Карла Маркса на Юбилейной площади; задумчиво постоять на набережной реки Кровянки, с трудом волочащей свое усталое красновато-бурое тело; заглянуть в одноэтажное темно-кирпичное здание краеведческого музея. Двери вагонов распахивались, туристы выплывали на платформы и мягкими стройными волнами двигались в сторону встречающей их Саши – бессменной проводницы к выходу в местный мир. Они шли все вместе, нераздельно, словно в одном безграничном туристском теле, и были наполнены одним на всех предвкушением свежих экскурсионных впечатлений. Прибывающие сплывались, скреплялись Сашей – живым символом Тушинска, его вокзальной душой. Она с естественной легкостью сводила воедино непрерывные потоки городских гостей – своим неизменным присутствием, торжественным ожиданием. Тушинск начинался с нее.

И каждый раз, когда перед Сашей возникала толпа новоприбывших туристов, ее охватывало ощущение теплого, свежего, будто только что испеченного чуда. В груди мгновенно раздувалось празднично-золотистое солнце, дышалось легко, свободно, несуетно, словно тесный тушинский вокзал наполнялся просторным дуновением вечности.

Все изменилось в сентябре, в начале нового учебного года.

После падения «занавеса» некоторые Сашины одноклассники уже успели побывать с родителями за границей. Теперь к этим счастливицам примкнула и Оля Савицкая с третьей парты. Летом она съездила с мамой и младшим братом в прекрасный город Анимию. Об этой поездке ярко рассказывала внушительная стопка глянцевого фотографий, которую Оля принесла в школу – похвастаться. Одноклассники передавали снимки по рядам, комментировали. То ли завистливо, то ли восхищенно причмокивали, задавали вопросы. Оля отвечала охотно, с подробностями, и ее голос стелился гладко, горячо, переливчато, будто успел пропитаться шелковистым жарким сиянием далекого города.

Когда интерес к фотографиям поутих и одноклассники постепенно начали переключаться на несделанные домашние задания, стопка наконец дошла до Саши. Всю большую перемену и почти весь урок ОБЖ она разглядывала, затаив дыхание, красочные карточки с отпечатками глубоко умиротворенного, словно навечно установившегося рая. И картинно замершая, застывшая на снимках Анимия пробуждалась в Сашиных ощущениях, обрастала рельефом, наливалась теплой пульсирующей жизнью.

Перед глазами щедро сверкали оттенки голубизны, бирюзы, лазури. Море колыхалось у берега солнечно-малахитовыми прожилками, а в далекой искрящейся сини мелькало разноцветными парусами крошечных яхт. На фоне облаков величественно темнели острые конусы кипарисов, раскидисто и мощно дышали пинии, сопротивляясь влажному напору ветра. Празднично пестрела у подножия высокого холма мозаика крыш, а наверху одиноко и строго сияла белая аскетичная церковь. Зеленел остролистный плющ, жадно струился по каменным стенам и мраморным аркадам старинных вилл. Все было живым, настоящим, почти осязаемым.

Но особенно поразила Сашу в тот раз захваченная одним из кадров вокзальная площадь Анимии. Просторное охристо-терракотовое здание вокзала, а перед ним – роскошный фонтан в виде павлина. Распускающийся пенными струями хвост, сверкающий пышный веер. В легких хрустальных брызгах – радужные блики, ослепительные солнечные мазки. И утонченная, непринужденно-изящная скульптура, мраморно-белоснежная райская птица. Непременный атрибут Эдема.

Глядя на павлина, Саша вдруг сникла, провалилась в уныние. Ей невольно подумалось о фонтане перед тушинским вокзалом. О невзрачной, треснувшей в нескольких местах глыбе бетона, давным-давно не издававшей радостного водяного журчания. Даже в жаркие летние дни тушинский фонтан сурово молчал, замыкался в своей бетонной бездушности. А вокруг

молчаливой глыбы, в облупившейся, когда-то желтой фонтанной чаше проросла болезненная трава и безжизненно мерцали осколки бутылок.

Вслед за фонтаном в Сашиной голове возникли тушинские нелеченные улицы с асфальтовыми ранами и волдырями. Тушинские неухоженные скверы, которые скоро должны были потонуть в гнилой листве цвета картофельных очистков. Тушинское грузное небо, набухающее тревожной тоской. Заржавелые детские площадки, монотонные коробки школ и поликлиник, вечным сном уснувшие фабрики. Саша внезапно увидела все таким, каким оно было на самом деле. Сначала в своих мыслях, а затем и в реальности – когда шла после уроков на работу к отцу. В этот раз она не бежала, а медленно ковыляла – взгрустнувшая, отяжелевшая. Еле-еле переставляла свинцовые ноги. Стало обидно, горько, и где-то в глубине горла, в каком-то его особенно уязвимом месте, появилась глухая сдавленная боль.

Саша подумала, что приезжающие в Тушинск туристы, должно быть, глубоко разочаровываются при виде всей этой беспросветной понурости. И ответственной за их разочарование является она. Ведь это она встречает их на пороге города, торжественно принимает у тушинских ворот. А за воротами оказывается сплошная всепоглощающая серость. Получается, что Саша обманывает городских гостей, питает в них ложные ожидания.

Обманывать Саша не хотела. И с тех пор она твердо решила, что будет встречать туристов только в Анимии. Причем по-настоящему, в реальном мире, а не внутри своего бесплодного воображения. Она вырастет, закончит школу, институт и отправится в этот Эдем, в чудесный солнечный город с фотографий Оли Савицкой. Будет работать в Эдеме встречающим гидом. Ожидать на вокзале воодушевленных путешественников, которые абсолютно точно не разочаруются от увиденного.

Саша не претендовала на роль экскурсовода по земному раю. Не собиралась водить восторженные группы туристов среди старинного архитектурного изыска и первозданной радости живописной южной природы. Рассказывать об исторических событиях города, о его знаменитых жителях из разных времен. Саша мечтала именно о роли *привратницы*. О роли *эдемской* служительницы, ждущей гостей. И когда ее спрашивали, чем она хочет заниматься во взрослой жизни, Саша неизменно отвечала: ждать.

Ждать, встречать, приветствовать новоприбывших странников. Указывать им путь в сердце благодатного пленительного города. Передавать их другим *эдемским* служителям – сопровождающим по внутреннему миру Анимии. Она верила, что это возможно – надо просто запастись терпением. И далекие, недостижимые образы когда-нибудь обязательно станут действительностью. В один прекрасный день охристо-терракотовые стены вокзала Анимии и райский фонтанный павлин будут для нее реальны, плотны, осязаемы.

4. Спрятавшийся

Он был реален, плотен, осязаем. Смотрел расфокусированным взглядом куда-то сквозь Сашу. Судорожно дергал левой ногой, натужно кряхтел.

Саша подержала его на руках несколько секунд и положила обратно в стеклянную кроватку. Держать дольше было невозможно, невыносимо. Руки сопротивлялись, отчаянно стремились освободиться от двух с небольшим килограммов недоразумения, болезненного непонимания с действительностью. На Сашу навалилась тяжкая гнетущая духота, от которой как будто вязало во рту, в мозгу, во всем теле. Словно ее с головой накрыло плотным жарким одеялом, и приходилось вдыхать неподвижный тяжелый воздух.

– Я правда не знала... Правда, – беспомощно пролепетала Саша. – Вы мне верите?

Ее голос истончился до слабых смычковых звуков, прерывистого струнного поскрипывания. Горло наполнилось усталостью – вязкой и неодолимой. Шумного слезного сопротивления внутри Саши почти не оставалось.

Врач Вадим Геннадьевич смотрел озадаченно, с мутноватой растерянностью. Медленно потирал крепкий щетинистый подбородок.

– Скажу вам честно: на моей практике такое впервые. Было два случая, когда женщины не знали до семнадцатой-восемнадцатой недели. Не замечали, не хотели замечать. Но чтобы вот так, до самых родов...

– Вы мне верите? – молящим полусшепотом повторила Саша. Нервно провела пальцами по старому больному подоконнику, изрытому хлопьями и бороздками белой краски.

– Такое случается, – задумчиво пожал плечами врач. – Нечасто, но случается. Синдром отрицания беременности. Когда женщина игнорирует происходящие с ней изменения. Не хочет видеть признаки того, что внутри у нее зародилась жизнь.

– Так ведь у меня и не было никаких признаков. Ни тошноты, ни усталости... Помню, когда носила Кристину, был жуткий токсикоз. А в этот раз ничего. Да и к тому же... ну... месячные продолжались.

– Месячных у вас быть не могло. Это были кровянистые выделения, похожие на менструацию. Но к менструальному циклу они отношения не имели.

– Тогда как же?..

– Такое явление возможно... В том числе во время отрицаемой беременности. Метроррагии. Маточные кровотечения, не связанные с менструацией.

Саша медленно вернулась в кровать. Села на тощий пружинный матрас и стала машинально расправлять сбившийся пододеяльник.

– А живот? Ведь живот у меня не вырос. Только чуть-чуть округлился. Совсем чуть-чуть, едва заметно. Но я думала, это просто возрастное... Думала, метаболизм замедлился или что другое. Я и представить не могла...

– Вообще, увеличение живота при беременности иногда не слишком выражено. Причины могут быть разные. Например, развитие эмбриона у задней стенки матки. Или, допустим, гипотрофия плода. Маловодие. Неправильное положение плода. А в вашем случае, возможно, плод и вовсе развивался в неестественном вертикально-вытянутом положении, ближе к позвоночнику, как бывает при отрицаемой беременности. Как бы стоя вверх ногами, а не в нормальной, обычной для всех нас позе эмбриона, понимаете? Повторюсь, лично я с таким не сталкивался. Но подобные случаи описаны были, да.

Пододеяльник все никак не расправлялся, выскальзывал из пальцев, сбивался еще больше, выпуская наружу колючее шерстяное одеяло. И вместе с ним до самой плоти, до уязвимой красноватой мякоти сбивалась душа.

В палату вошла медсестра – другая, не та, что с сахарным голосом. Неопределенного возраста, очень худая, бесцветная, сухопарая. Словно диетический хлебец.

– На анализы, – сказала она сухим бесцветным тоном под стать внешности. И тут же унесла ребенка.

Саша успела лишь вздрогнуть и растерянно проводить ее глазами. А врач устало посмотрел в окно и с медленным, будто обреченным вздохом продолжил:

– Что касается тошноты и слабости, они ведь в любом случае бывают не у всех и не всегда, понимаете? И даже если в вашу первую беременность вы наблюдали эти симптомы, это не значит, что во второй раз все должно пройти так же.

– Но ведь у меня не было вообще никаких симптомов. Неужели так бывает?

– Бывает, еще раз вам говорю. У вас была скрытая беременность. Явление редкое, но возможное.

– Так ведь даже шевелений не было, ничего.

– На шевеления плода вы, вероятно, не обращали внимания. Точнее, интерпретировали их как-то по-иному.

Сорочка неприятно облепляла взмокшее тело. Саша ощущала себя испорченным, забытым на жаре продуктом. Помятой упаковкой скисшего молозива.

– Но почему все так произошло?.. У этого есть какое-то объяснение?

– Понимаете, то, что с вами случилось, – явление, прямо говоря, довольно загадочное и мало изученное. Особенно в нашей стране... Я могу вам сказать лишь одно: объяснение, скорее всего, кроется в вас. В вашем психологическом состоянии. Вы, вероятно, не стремились забеременеть? Не хотели по каким-то причинам этого ребенка?

В ответ Саша медленно покачала головой. В сознании возник образ вокзала Анимии – неотчетливый, туманный, расплывчато искаженный. Словно увиденный из глубины мутных околоплодных вод.

– Возможно, поэтому так все и произошло. Отрицание – это как бы защитный механизм вашей психики. Вы не хотели осознать и принять свою беременность, всячески вытесняли из мозга саму мысль о возможном зачатии. И ваше тело вам, можно сказать, подыграло. Проявление внешних признаков было подавлено. Понимаете?

– Не знаю... не уверена, что понимаю вообще хоть что-нибудь.

– Дело, вероятно, в вашем глубоком страхе перед беременностью. Я не знаю, почему вы – конкретно вы – так ярко противились мысли о ребенке. Причины у всех свои. Кто-то боится из-за финансовых сложностей, кто-то не хочет губить карьеру. В ваши жизненные обстоятельства я лезть не собираюсь. Как бы то ни было, вам явно требуется помощь психолога. А возможно, и психиатра.

Саша встрепенулась. Будто в тихой комнате кто-то резко, на полную мощь включил музыку.

– Психиатра?

Одну тревожно долгую секунду врач молчал. Затем кивнул – все с той же усталой задумчивостью, и вслед за его головой качнулась палата.

– Да, Александра Валерьевна, именно так. Этот синдром может встречаться у женщин с сопутствующими психическими расстройствами. У вас диагнозов по части психиатрии нет?

Саша решительно мотнула головой. В животе липким холодным комком шевельнулся страх.

– В любом случае провериться у психиатра лишним не будет. Может, вам потребуется медикаментозная терапия. Необязательно, нет. Бывают случаи скрытой беременности и у психически здоровых женщин.

– У меня нет никаких отклонений... психического характера...

– Может, и нет, я же говорю. Но необходимо понять причину, по которой беременность прошла в скрытой форме. Вашу внутреннюю причину, понимаете, Александра Валерьевна? Нужно разобраться, почему вы не позволили беременности войти в ваше сознание. Вытащить на поверхность проблему. И вам в этом помогут соответствующие специалисты.

– Но ведь я...

Саша словно споткнулась о собственную несформировавшуюся фразу и замолчала. Ей мучительно хотелось сказать в ответ нечто такое, что мгновенно бы прояснило ситуацию и отменило происходящий кошмар. Чтобы каким-то образом стало понятно, что ребенок не может быть ее. Чтобы врач извинился за медицинскую ошибку и ушел из палаты, пожелав ей хорошей дороги. Чтобы чудовищная абсурдность ситуации сама собой устранилась.

Но сказать было нечего. В голове все расплывалось, а горло как будто залили густой смолой.

– Сейчас нужно постараться взять себя в руки и не нервничать, – смягчившимся тоном продолжил врач. Изумруд голоса разлился плавными морскими волнами. – Вам в ближайшее время потребуется много сил и энергии. И вам, и ребенку вашему нужно будет пройти множество обследований. Ведь за вами не было ни акушерского, ни эндокринологического, вообще никакого контроля. Хорошо еще, что ваши домашние роды прошли, скажем так, без трагических последствий. А ведь все могло бы закончиться гораздо хуже.

В палату вернулась медсестра с ребенком. После взятия крови младенец так истошно кричал, что казалось, будто он весь состоит из одного сплошного, надрывного, темно-красного крика.

– Держите, мама, кормить пора, – сказала медсестра и тут же передала младенца Саше. Решительно, безапелляционно.

– Давайте, Александра Валерьевна, кормитесь, привыкайте друг к другу, а я пойду. Еще загляну к вам сегодня.

Врач ушел, неплотно закрыв за собой дверь. Оказавшийся на Сашиных руках младенец резко замолчал, жадно и больно впился губами в грудь. А Саше вдруг стало невыносимо противно от осознания собственной влажной теплой животности. Она брезгливо посмотрела на свою сорочку с пятном молозива на левом соске, с потными разводами у подмышек. На свою невзрачную телесную обертку, вымокшую от внезапного материнства.

Сквозь приоткрытую дверь доносился чей-то радостный оживленный голос.

– Лева, слышишь меня? – кричала в телефон какая-то женщина. – Лева, я в коридор вышла, да. Все прекрасно, педиатр полчаса назад посмотрел. Мы поели, ждем тебя!

Резкие звуки чужого бодрого голоса неприятно раскрывались в Сашиной голове и тут же захлопывались, как маленькие мокрые зонтики, обдавая ледяными брызгами.

– Ну что, мама, присосался? – бесцветно спросила медсестра.

– Вроде да... Ест.

– Ну и славно. Мне вашу медицинскую справку о рождении заполнить нужно. Как ребенка назвали?

Саша растерялась. Вопрос показался ей странным, дико неуместным, а главное, совершенно не важным во всей этой болезненной фантазмагории. Она медленно подняла взгляд на медсестру. Та смотрела отстраненно, бесстрастно – из-под полуприкрытых век. Словно святая с церковной фрески.

Женщина в коридоре все не унималась:

– Как через два часа?! Ты же говорил, что выехал?.. Ну хорошо, хорошо! Ждем тебя, Лева! Давай, постарайся скорее.

– Лева, – рассеянно произнесла Саша. – Пусть будет Лева.

Несколько секунд медсестра непроницаемо молчала. Будто давая возможность передумать. Затем кивнула с невозмутимо гладким безразличием.

– И еще мне ваш паспорт нужен будет.

В следующие часы Саша отчаянно пыталась представить немую напряженную борьбу, которая происходила в ее собственном теле и о которой она не подозревала. Крошечный человеческий плод из всех сил пытался заявить о себе, отвоевать свое законное место в материнской утробе. А Сашино сознание нещадно отторгало его, пыталось заставить быть незаметным, отступить в непроглядную телесную темноту. И в итоге он отступил. Жгучее, неистовое нежелание принять и прочувствовать зародившуюся жизнь победило. Сознание в конце концов сумело отгородиться. Вытеснить зыбкое существование плода на периферию, за пределы мыслей и ощущений. И чтобы выжить, чтобы не быть отвергнутым материнским телом, зародыш спрятался. Затаился в незримой, потаенной глубине враждебного организма, на самом доньшке непроницаемого биологического мрака. Практически на границе с небытием. И все эти месяцы он был там – отрицаемый, беспомощный, бесправный. Скрывался от матери, чтобы та не избавилась от него окончательно, не извергла из себя. Чтобы она, ни о чем не беспокоясь, продолжала жить своей *желанной* невозмутимой жизнью.

Но пришел момент, когда прятаться стало больше невозможно. Когда отторгнутому существу все-таки пришлось объявиться, выйти из укрытия, ставшего слишком тесным. Прийти в холодный твердокаменный мир, где никто, абсолютно никто его не ждал.

Этот ребенок был для всех точно нитка, резко выдернутая кем-то большим и невидимым из гладкой ткани бытия. Из тонкого кружева привычного и вроде бы понятного мироустройства.

На дне холщовой сумки, заботливо принесенной Кристиной, Саша откопала телефон и прочитала про свой *синдром* в интернете. Нашла гору невнятной, запутанной информации – в основном на англоязычных сайтах. Главным открытием стало то, что в Сашином положении оказывалось не так уж мало женщин. Причем некоторые из них были настолько глубоко погружены в темное вязкое болото психотического отрицания, что убивали своих детей сразу же после родов. Как, например, тридцатидвухлетняя кореянка, которая утопила в ванне свою *неожиданную* дочь. Не дочь, нет: инородное, непонятное, осклизлое нечто. Или сорокалетняя шведка, которая вынесла новорожденных близнецов на мороз и оставила их на мерзлом сверкающем снегу, возле переполненного мусорного контейнера. А что еще было делать со странным, непонятно откуда возникшим хламом?

Эти несчастные, внутренне разрушенные женщины не понимали, что происходит. Утопая в страшном густом полусне, не различали перед собой очертаний реальности. Они были бесконечно далеко от внятных окружающих вещей, от текущего человеческого времени, от собственных страдающих тел. Отрицание поглотило их без остатка, не позволило им увидеть очевидное – даже когда их *невозможные, немыслимые* дети появились на свет. И, провалившись на самое дно кошмара, они шли в своем отвержении действительности до конца. Без колебаний избавлялись от чужеродных неопознанных предметов, каким-то образом оказавшихся рядом.

И Саша могла бы стать одной из них. Вполне возможно, что она тоже умертвила бы собственного ребенка, если бы Кристина – по счастливой случайности – не вернулась за забытым телефоном. От этого внезапного понимания стало беспредельно, невыносимо жутко. Голова сделалась тяжелой и мутной, словно аквариум, наполненный давней, многомесячной водой. И внутри этого аквариума, среди густых водорослей, неповоротливыми скользкими рыбами задвигались мысли о едва не наступившем абсолютном, кромешном аде.

Худшего удалось избежать, но внутри все равно сквозила ледяная безысходность. Саша не знала, как ей жить дальше с этой непоправимой биологической поломкой. Она больше не

чувствовала в себе жизни. Она думала, что теперь никогда не сможет доверять своим глазам, своим впечатлениям, своему неправильно работающему, практически приведенному в негодность телу. Саша ощущала себя выпотрошенной куклой с пустыми глазницами. Было невозможно, неподъемно сложно осознать и вразумительно объяснить самой себе, что произошло.

Однако еще сложнее было объяснить это другим.

– Ну как это не знала, как можно было не знать! – кричала мама. – Ты же не подросток, не девочка юная, несмышленная, ты взрослая женщина! У тебя дочь уже большая. стыдно такое говорить!

– И тем не менее это правда, – пожала плечами Саша. – У меня не было никаких проявлений.

– Ну боже ж ты мой, ну чушь-то нести не надо! Проявлений у нее не было! Зачем так врать? Как тебе вообще такая глупость в голову могла прийти? Не захотела матери ничего рассказывать, так прямо и скажи!

– Но ведь ты сама видела, что я совсем не поправилась. Разве не помнишь, как меня разнесло, когда я Кристинку ждала? А в этот раз? Ты заметила хоть какие-то перемены в моей внешности?

– Не заметила, нет, не заметила! Не знаю, как тебе удалось спрятать живот. От меня, от дочери, ото всех. А главное – почему? Почему, Саша, скажи! Ведь мы же твои родные, мы бы поддержали тебя, что бы там ни было!

Густой полновзвучный крик снова превратился в острое металлическое дребезжание. Мамин голос казался надсадным скрежетом какого-то поломанного механизма.

Саша устало отвернулась, подоткнула под бок колючее одеяло, окончательно вылезшее из пододеяльника.

– Я не прятала ничего. Это ребенок... ребенок прятался ото всех. И от меня в том числе. Если не веришь, что такое возможно, спроси у врача, у Вадима Геннадьевича.

– Да чушь какая, да не стану я ничего спрашивать! Не хочу позориться. Ты бы мне еще сказала, что у тебя отношений ни с кем не было, что ребенок сам по себе появился. Взял вот – и появился! Из ниоткуда! Все, Саша, не могу я больше слушать эти бредни.

Мама решительно направилась к выходу из палаты. Несколько секунд яростно толкала дверь, билась об нее всем телом. словно отчаянная муха, стучащая в оконное стекло в слепой попытке вырваться на волю. Затем наконец потянула дверь на себя и тут же растворилась в стерильном коридорном свете.

Кристина была менее категорична. Успокоительно кивала, гладила Сашину руку. Рассеянно-ласково улыбалась, мягко подсвечивая сгустившуюся палатную невзрачность. Но ее улыбка была сродни ноябрьскому солнцу – прощальному, ускользающему, крайне непрочному. Саша чувствовала с болезненной остротой: дочь ей не верит. И не поверит никогда.

– Да, мам, я понимаю, всякое бывает... Просто это... ну очень странно, согласишься? Как-то совсем необычно. Сложно себе представить...

Она говорила медленно, осторожно, будто нащупывала тропинку в непроглядной лесной темноте. И было видно, что внутри у нее, прямо за тоненькими ключицами, горячо плещется ужас непонимания, полнейшего смятения. Один неосторожный шаг – и весь этот ужас пойдет горлом.

– Конечно, Кристина, еще как необычно. Я и сама не знала, что так бывает... что так может быть.

– В любом случае я с тобой... Я никуда не поеду, останусь здесь. Насовсем.

– Ты у меня очень добрая девочка. И мудрая. Но оставаться со мной не надо. Поезжай, обязательно поезжай. Тебя ждет отец. И новая жизнь. Тебе надо готовиться к институту.

– Мам, ну что ты такое говоришь... У меня брат родился, совершенно внезапно появился на свет, а я возьму и сяду в поезд как ни в чем не бывало? Типа ничего особенного не произошло?

На Кристиных ресницах блеснула неудержанная, прорвавшаяся наружу капля смуты. Совсем крошечная, словно из шприца перед уколom.

– Произошло... Конечно произошло. Но тебе нужно думать прежде всего о себе. Каникулы, если хочешь, проводи здесь, со мной и... с братом. А потом, ближе к осени, поезжай. У тебя самый важный класс впереди, поступление.

Сказав это, Саша впервые ощутила четко и рельефно, что сама она никуда не поедет, *действительно* не поедет, останется в Тушинске до осени, до зимы, до всех последующих зим... И от этого внезапного ощущения ее чуть не вынесло сквозняком в черную космическую пустоту.

– Мне сейчас не до поступления, мам. Мне нужно все переварить...

– Я понимаю. Но все придет в норму, все уляжется, – механически произнесла Саша, как будто не вполне вникая в собственные слова. – С любым потрясением можно справиться, ведь так? Все со временем встанет на свои места.

Кристина в ответ долго молчала, и это тугое, сдавленное оторопью молчание с холодом проникало в Сашу. Капля за каплей растекалось внутри усталым бессилием, неподвижной стылостью темнотой.

Они обе смотрели на спящего Леву. На настоящего, облеченного плотью мальчика, который уже не прятался, не старался быть незаметным, а уверенно занимал свое место в пространстве. Самое страшное испытание – неблагоклонной материнской утробой – осталось позади. Он был уже не эмбрионом, не плодом, а отдельным человеком, жизнеспособным и полноценным. Отторжение чужим негостеприимным нутром ему больше не грозило.

– Я помню, мне как-то рассказывала Таня из класса «Б»... – Кристина наконец прервала томительную тишину. – Ее двоюродная сестра хотела родить ребенка... Очень хотела. Но все как-то не удавалось зачать. И вот однажды у нее начали появляться долгожданные признаки беременности. Ее стало тошнить по утрам, пропали месячные. Она была на седьмом небе... Но в итоге оказалась, что никакого зачатия не произошло. Врач заявил, что у нее ложная беременность. Что никакого ребенка нет. А ведь у нее даже живот начал расти, представляешь?

– Вот видишь! – резко оживилась Саша, почувствовав внезапную надежду на понимание, хотя бы на самую малую крупицу понимания дочери. – А у меня ситуация обратная. Я не хотела беременности, и мое тело скрыло ее от меня... Не выдало присутствие плода внутри, понимаешь? И все эти месяцы я жила, ни о чем не подозревая.

– Но почему? Объясни, мама, почему? Из-за чего можно так яростно не хотеть ребенка? Ты так говоришь о случившемся, как будто это какая-то трагедия, а в чем тут трагедия, мам, скажи? Ведь это же здорово! Ну окей, пусть даже этот ребенок не входил в твои планы, но ведь это в любом случае не катастрофа! Почему ты настолько его не хотела, что ему пришлось скрываться в твоём животе?

Кристина громко расплакалась, словно внутри у нее сломался механизм, сдерживающий чувства в темной телесной глубине. И непонимание густым потоком полилось наружу.

А Саша лежала и не моргая смотрела в больничный потолок, на трещинки между люминесцентными лампами. Смотрела неотрывно, до рези в глазах. Трещинки постепенно начинали кружиться, складываться в причудливые узоры, в затейливые таинственные символы, которые, возможно, давали ответы на что-то мучительно важное. Но разгадать их было нельзя.

5. Негромкая мечта

Сашин папа умер спустя ровно год после того, как Саша решила стать *привратницей* Анимии.

Несколько долгих лет он не мог окончательно оставить зыбкую надежду на возвращение к науке, к университетской повседневности. И вместе с тем не мог сделать эту надежду крепкой, реальной, ощутимо близкой. Где-то глубоко внутри себя он непрестанно над ней кружил, отчаянно пытаясь приземлиться, как самолет, которому все никак не дают разрешение на посадку. Смотрел на нее – недоступную и в то же время манящую, упоительную, ярко цветущую там, внизу. Со временем яркость постепенно исчезала, и надежда превращалась в крошечную пропасть несбывшейся жизни. Заполнялась маслянистой темно-зеленой водой, все острее отдавала затхлостью. И Сашин папа, так и не получив разрешение кого-то неведомого на посадку, рухнул в эту неподвижную воду и тяжело ушел ко дну.

О том, что папа умрет, Саша узнала незадолго до новогодних праздников, перед окончанием второй четверти шестого класса.

Момент осознания запомнился с неумолимой четкостью. В комнате стремительно густел декабрьский вечер, тускло светила люстра – зеленоватым, словно подводным мерцанием. Саша готовилась к полугодовой контрольной по английскому. С аккуратной медлительностью перелистывала потрепанный библиотечный учебник, машинально хлебала остывший чай. За стенкой, на кухне, о чем-то переговаривались вполголоса родители. О чем-то своем, взрослом: вникать в их обособленную, приглушенную беседу желания не было. Нужно было сосредоточиться на употреблении неопределенного артикля.

Но внезапно Саша ясно услышала собственное имя: оно вырвалось из мерно бурлящего потока нераспознанных фраз, выкатилось гладким округлым камешком. И за ним тут же покапались и остальные слова, больно и тяжело посыпались на дно сознания.

– Только Саше пока не надо знать, не говори ей ничего, – попросил папа. Тихим, непривычно хрипловатым голосом, будто слегка надтреснутым где-то в глубине.

Мама протяжно вздохнула, и Саша словно увидела сквозь стенку, как она по привычке раздраженно прикрывает глаза, как подергивается тоненький синий сосуд на правом веке. И как медленно затем поднимаются отяжелевшие под слоем комковатой туши ресницы.

– Валера, ну боже ж ты мой. Ну Саша не маленькая уже, в состоянии понять. И она ведь все равно узнает, рано или поздно.

– Пусть хотя бы новогодние каникулы пройдут...

– Можно подумать, это изменит хоть что-то, ну сам посуди. Ну пройдут каникулы, и что, потом легче будет узнать?

Папа не отвечал несколько секунд – шелестящих, острых, тонко нарезанных стрелкой комнатных часов. А Саша почувствовала внутри себя горячую тяжесть, словно где-то в животе собрался неповоротливый темный жар. Она неотрывно разглядывала кружку – керамическую, светло-серую, с полустертыми ягодами брусники.

– Легче не будет, но праздники ребенку портить не надо.

– Ребенку. Боже ж ты мой. Ребенку пора взрослеть и учиться принимать действительность. Вместо того чтобы электрички считать в розовом неведении.

Ягоды брусники запульсировали и расплылись – кровавым пятном на светло-сером грязноватом снегу.

– Потихе, Лариса, пожалуйста. Действительность и так ее настигнет. Очень скоро. Пусть это розовое неведение, как ты говоришь, продлится еще хотя бы две недели. Хотя бы десять дней...

– Все пытаешься оградить ее от реальной жизни, до последнего. Ну-ну. Сначала говоришь мне про свои анализы, про КТ, про не больше полугода, и тут же – Сашеньке сообщать не надо. Ладно, Валера, как хочешь. – Мамин голос тоже как будто слегка треснул и сразу напитался влагой подступающих слез. – Я уже совсем запуталась и ничего не знаю. Не знаю, как надо. Не знаю, как мы тут будем без тебя.

Саша провалилась взглядом внутрь кружки. В остывшее чайное болото, где завяз полукруглый отблеск лампы. Ровно очерченный бледный месяц – словно долька лимона – в окружении невесомых, не утонувших чаинок. Затем взгляд выплыл, медленно и грузно перевалился через кружечный край – на учебник английского разговорного. Рыжая девушка на обложке по-прежнему улыбалась, указывая на Биг-Бен. Беззвучно делилась внутри себя на гладкие разговорные фразы – бодрые и безупречно жизненные. Никак не реагировала на слова, просочившиеся с кухни. И ее огненные волосы, белоснежная блузка, невозмутимый самоуверенный оскал – все болезненно врезалось в Сашу долгой слепящей вспышкой.

Голоса за стенкой притихли, образовалась плотная, почти осязаемая тишина, чуть разбавленная шелестом секундной стрелки. Слова закончились. В Сашиной груди вылуплялось, разрывая сердце, что-то страшное, неведомое. И было неясно, что с этим делать: то ли позволить ему вылупиться полностью, то ли с силой сжать его, сдавить внутри грудной клетки. Либо с упоением вбирать разлившееся горе крупными глотками, либо отвернуться и бежать от него прочь, яростно отрицать его. Саша не знала, как ей быть. Казалось, все вокруг настороженно заострилось: комната будто ждала от Саши какого-то немедленного решения, пытливо всматривалась в нее углами предметов, стен, оконных створок.

– Как же у тебя тут душно, это ж с ума можно сойти от такой духоты! – раздался за спиной мамин голос. Уже свободный от смятения, снова крепкий, цельный.

Мама решительно прошла мимо Саши, резким движением открыла форточку. Распахнула настежь. Хлынуло декабрьским влажным холодом, терпким сырым морозом. Свежий воздух тут же растекся по комнате, немного сгладил пристально острые углы. И Саша внезапно поняла, что выбора у нее на самом деле нет. Что убежать от собственного рвущегося сердца ей некуда; что подавить нарастающую в груди боль у нее не хватит сил. Что нужно просто ждать полного воплощения этой боли, как очередного поезда на тушинском вокзале.

– Скоро есть будем, я рассольник сварила, хватит чаи гонять, – сказала мама.

И вдруг поймала Сашин взгляд и замерла.

Вопреки прогнозам, Валерий Федорович прожил чуть больше, чем полгода: девять изнурительных месяцев. И эти девять месяцев прошли для Саши в непрерывном ожидании. Она ходила в школу и на вокзал, смотрела в тягучее вязкое небо, в учебники, в подмерзшую слякоть, в желтую вышивку одуванчиков на майской траве. Слушала гулкий вечерний ветер, кухонное радио, глухой рокот асфальтового моря ночных проспектов. На рассвете – звенящие пустые трамваи, исправно режущие тушинское безвольное тело. От всего истекало лишь немое и болезненное ожидание неизбежного. Ничего, кроме этого ожидания, не происходило, не отзывалось и не звало. Все было пропитано неторопливым, томительным, ни в чем не растворимым запахом обреченности.

Работал Валерий Федорович до середины июня, затем вся его жизнь окончательно стиснулась, сжалась и поместилась в пространство между Второй тушинской больницей и домом. В один из своих последних рабочих дней, когда Саша стояла на платформе в ожидании московского поезда, он внезапно закрыл киоск и вышел к дочери. Положил ей на плечо руку – уже ослабевшую, преждевременно по-старчески иссохшую, туго оплетенную синими венами. Задумчиво посмотрел куда-то сквозь застывшие пустые поезда.

– Все мечтаешь о своем далеком чудесном городе?

Саша вздрогнула от его внезапного появления. От ощущения хрупкости его руки, от явно проступившей усталости его голоса. В груди как будто раскололась ампула с нестерпимой горечью, и эта горечь тут же пропитала все внутри. Словно *ожидание* достигло в тот момент своей наивысшей концентрации.

– Не о самом городе... То есть да, конечно, о нем, но особенно о его начале, понимаешь? О городских воротах. Чтобы там встречать городских гостей. Как здесь...

– Ну что ж, хорошая мечта. Негромкая, простая. Не предавай ее.

– Не предам, – ответила Саша, чувствуя, как сердце заколотилось у самого горла. Казалось, еще немного – и сердце лопнет, изольется черным, густым, смолянистым.

– Не расставайся с мечтой, Сашка, даже если будет очень-очень непросто. И даже если будет казаться, что для нее уже слишком поздно.

Объявили посадку на поезд в Холодноводск. По третьей платформе неспешно заструилась пестрая река расслабленных летних людей. В прозрачных пакетах густо зарумянилась спелая черешня, по вафельным пористым стаканчикам потекло подтаявшее мороженое. В карманах наверняка защелкали кассетные плееры. А Сашин папа все смотрел куда-то вдаль, поверх голов, мимо вагонов, мимо июньского солнца, замершего высоко в небе ярким подтекшим желтком. Возможно, сквозь июнь он видел уже свою личную проступившую осень. Остывающее пространство, где воздух наполнен запахом дыма, прелой листвы, горьких увядающих трав. Где яблони в садах излучают потерянную одинокую хрупкость; где в чернильном ночном безмолвии краснеют грозди рябины. И где для *его* мечты уже *действительно* слишком поздно.

Саша и сама вспоминала потом об этом периоде ожидания с ощущением чего-то прохладно-влажного, терпкого, осеннего. Словно все девять месяцев собрались в финальной, сентябрьской точке. Там, где папины глаза навсегда остановились и погасли. Хотя, конечно, на самом деле время до сентября тянулось мучительно долго, изо дня в день отчаянно пытаясь разрешиться безмерным горем и вместе с тем безмерным облегчением. Время болело, кровоточило секундами, минутами; ныло гематомами бессонных ночных часов. Время было нестерпимо чувствительным.

Зато когда девятнадцатого сентября Саша возвращалась с мамой из морга, когда смотрела через окно осенне-желтого автобуса в дождливые тихие сумерки, боли уже не было. По телу плавно струилось успокоительное тепло. Саша столько раз представляла, прокручивала в голове этот неотвратимый день, этот неумолимый момент окончательного расставания, что папина смерть будто проникла в нее заранее. Предчувствуемая, воображаемая боль проросла в ее сердце, заняв место боли реальной, фактической. Не оставив ей ни единого шанса. Мучительно горькое ожидание стало прививкой от *настоящей* горечи, которая должна была захлестнуть Сашу в день *настоящей* папиной смерти. Но не захлестнула. Благодаря прививке ожидания этот миг свершившейся неизбежности стал в итоге не отчаянием, а освобождением, моментальной глубинной успокоенностью. Саша смотрела сквозь автобусное стекло на проплывающий мимо пасмурный Тушинск: на безликие улицы, подсвеченные рассеянной фонарной желтизной; на зябкие скверы, тонущие в серой холодной взвеси. Снаружи все расплывалось, хандрило, погружалось в сонную тоскливую сырость. Уже готовилось к зиме, к бездонному белому сну. А внутри Саши было безмятежно и солнечно. Невыносимая тяжесть последних девяти месяцев резко отступила, и за ребрами дрожала тихая прозрачная невесомость.

После папиной смерти потянулись непомерно долгие школьные годы. Покатались будни – тяжелыми однообразными вагонами, словно нескончаемый товарняк, стучащий колесами в ночной темноте. Но Саша твердо знала, что спокойно выдержит этот монотонный стук, это

вялое тяготящее движение обязательного школьного периода. Нужно было всего лишь запастись терпением и исправно следовать учебной программе, чтобы получить аттестат, поступить на филологический факультет, выучить *эдемский* язык, а после окончания университета уехать в Анимию, получить работу встречающего гида – *привратницы* райского города. Нужно было всего лишь ждать.

Друзей среди одноклассников Саша так и не завела. Общалась разве что с соседкой по парте Асей Дементьевой – и в основном по делу. Ася была невероятно красивой осанистой девочкой с гладкими ореховыми волосами, с золотисто-персиковой кожей, будто мягко подсвеченной изнутри. И неизменно безразличным, идеально полированным взглядом рептилии. Сашу не покидало ощущение, что из-под длинных пушистых ресниц на нее смотрят черные каменные иглы ящеричных зрачков. Просочившееся наружу холоднокровное нутро.

Саша и Ася договаривались в начале каждой четверти, кто будет приносить учебники по истории и литературе, а кто по алгебре и географии. Ежедневно сверяли ответы примеров из домашнего задания. Иногда созванивались по поводу совместных рефератов. Но за пределы этих вынужденных шаблонных бесед общение практически никогда не выходило. Обсудив рабочие моменты, Ася поспешно прощалась с Сашей, словно стряхивала с рукава налипшие крошки от столовского творожного кекса. И тут же отправлялась к своим вправдашним, признанным подругам – бойким шумливым девочкам в джинсовых мини-юбках и цветастых синтетических топиках под обязательными темно-синими пиджаками.

Мама в первые месяцы вдовства замкнулась в себе. Черты ее лица заострились, кожа посерела, будто вымокшая бумага. Возле тонких, вечно поджатых губ появились заломы, под глазами – тусклые впадины. Да и сами глаза заметно обесцветились, поблекли – словно горе вымыло из радужки привычную ясную синеву до ледяной голубоватой полупрозрачности.

С Сашей она практически не разговаривала, только по необходимости. Произносила короткие бытовые наборы слов – тусклым и ровным голосом, почти без ударений и без пауз. *Саша убери остатки супа в холодильник. Саша не забудь развесить выстиранное белье. Саша я завтра приду с работы поздно ужинай одна меня не жди.* И даже эти постные бесчувственные предложения – точно из учебника английского разговорного – давались ей с трудом. Саша видела, как при всякой фразе напрягались голубые жилки на ее висках и скулах, как подергивался тоненький сосуд на правом веке. И даже, казалось, слышала, как поскрипывало у нее в груди – жалобным зовом несмазанных сердечных петель.

Однако с приходом декабря мама стала постепенно приходить в себя. Нашла новую работу – в бухгалтерии магазина спортивной обуви. Немного вытянула их с Сашей из глубины перманентного отчаянного безденежья, еще больше сгустившегося после смерти *Валеры*. Расправила сдавленные горем плечи, покрасила все более заметное серебро преждевременной седины. Выбросила наконец старую каштановую дубленку, невысказанно тяжелую, так и тянущую вниз, к мерзлой земле – сменила ее на легковесное светло-песочное пальто. И в этой своей песочной невесомости она уверенно заскользила по тушинским обледелым улицам, сквозь январские сумерки, немую выстуженную черноту, вихри метельного праха, искрящегося в фонарном свете. Сквозь зимние будни – сероватые и одинаково ровные, как листы бухгалтерской бумаги; сквозь неотступные каждодневные проблемы и порожденную ими головную боль – пульсирующую, многоугольную. Жизнь должна была продолжаться, нужно было оставить позади свою кровотокающую память о лучших временах и двигаться дальше.

Правда, общение с Сашей потеплело не сильно. Мамин голос немного смягчился, оброс цветом и переливами интонаций; на сухие куцы замечания стали все чаще наслаиваться фразы чуть более рельефные, не бытовые, не вынужденные. Но все же лицо ее оставалось при этом замкнутым, холодным, словно запертый подвал, ключ от которого безнадежно утерян. Саше

казалось, что мама никак не может ее за что-то простить. Будто внутри мамы никак не исчезали остатки едкой концентрированной обиды – уже остывшей и замерзшей. Возможно, это была обида на то, что Саша, которую *Валера* так любил, так уберегал от реальности, не проронила ни слезинки на его похоронах и со странной нездоровой легкостью шагнула в жизнь без папы. Вероятно, маме казалось несправедливой и жестокой эта внезапная невозможность разделить свое живое жгучее горе с собственной дочерью.

Пытаясь ускользнуть хотя бы на пару часов от глухого ежедневного одиночества, Саша продолжала встречать поезда. Как и при папе, отправлялась после уроков на вокзал. С привычной поспешностью пересекала вокзальную площадь – осенью промерзшую до хрусткой корочки на плитках, зимой до твердых неровных волдырей, а летом беспрерывно охлаждаемую потеками пива и пломбирной жижи. Мимо отрешенного, вечно немого фонтана, мимо обколотой бетонной урны, наполненной мертвыми сигаретами. Торопливо взбегала по стоптанным ступеням – местами чуть треснутым, местами совсем рассыпавшимся. Решительно тянула на себя тяжелую стеклянную дверь. Затем, пробираясь сквозь вокзальное нутро, изо всех сил старалась не смотреть в сторону газетного киоска. Туда, где теперь сидел, небрежно развалившись, чужой неприятный человек – с опухшими желтоватыми глазками и отвисшей нижней губой. Туда, где болезненно пульсировало непоправимое папино отсутствие.

Выйдя к перронам, Саша останавливалась и медленно выдыхала. Наконец можно было вернуться к себе. Казалось, будто сырая и скомканная ткань одинокого буднего дня начинала разглаживаться и прогреваться.

Вокруг по-прежнему, как и при папе, сновали люди. Радостные, предвкушающие, беззаботные. Плачущие глубоко в себя, наливающиеся изнутри тяжелыми невидимыми слезами, разбухающие от душевной соленой влаги. Но чаще – пропитанные усталым, полупрозрачным, слегка угрюмым безразличием. Люди поспешно выныривали из прибывших поездов и жадно ныряли в поданные на посадку пустые вагоны. Словно в теплое бархатистое море у берегов Анимии. Море, которое они, скорее всего, никогда не видели и не увидят за всю свою жизнь. По крайней мере, большинство из них. Но Саша увидит обязательно. Пройдет время, и перед ней раскинется слепящая морская синева, примет в себя, обнимет ее замерзшее тушинское тело. И будет тепло и бестревожно, и солнце будет длиться бесконечно – в яркой подвижной лазури, в сверкающих брызгах, в соленых – похожих на слезы радости – каплях между ресницами. Ведь не только *эдемским* жителям и гостям дано это мягкое лучистое колышание шелка. Ей, *привратнице*, тоже можно будет притронуться к ласковой глубокой сини, скрытой за городскими воротами.

Сэкономив немного денег на школьных завтраках, Саша купила в тушинском книжном магазине альбом с фотографиями Анимии. Тяжелый, красочный, гладкий. В скользкой суперобложке с изображением терракотовых и сливочно-белых домиков, весело рассыпанных по зеленым холмам, и широкой сияющей полосы того самого бархатистого моря. Хранилище глянцевого городского вида – недвижимых, омертвелых, лишенных окружающего воздушного трепета. Но так же, как и фотографии Оли Савицкой, эти снимки оживали внутри Саши, пропитывались запахами, теплом, лучезарной мягкой душой. И всякий раз, когда одиночество давило слишком сильно, когда в голове болезненно громко шумел зимний ветер, Саша открывала альбом. Смотрела сквозь глянцевую бумагу на крыши анимийских домов, на красно-бурую коросту черепицы, залитую спелым медовым солнцем. На тенистую сочную зелень анимийских садов, праздничные оранжево-желтые брызги апельсиновых и лимонных деревьев, серебристые оливковые рощи, благородно четкую линовку виноградников. На карандаши колоколен – остро заточенные, обращенные к безмятежным лакированным небесам. Разумеется, смотрела и на вокзальную площадь с фонтанным райским павлином – в самый

центр, в пульсирующую сердцевину своей мечты. И колкий воющий ветер постепенно замолкал. Внутри Саши наступала тишина. Не абсолютная и оглушительная, не та, что словно предшествует сотворению звука. А тишина теплая и спокойная, как мягкий флисовый плед. Уютная ворсистая *негромкость*. Саша укутывалась в эту внутреннюю тишину, наполнялась теплом, и ей казалось, что эта тишина и есть настоящая жизнь – простая и безветренная. Образы Анимии были одновременно и успокоением, и обезболиванием, и неизменной трепещущей точкой бытия. Образы Анимии были поводом продолжать жить.

Благодаря глубокой, нутряной вере в свою *негромкую* мечту, благодаря рожденной из этой мечты твердокаменной воле Саша закончила школу с золотой медалью и поступила на бюджетное отделение филологического факультета Тушинского государственного университета.

С той поры Сашина повседневность как будто начала наливаться ярким живительным светом. По крайней мере, так казалось в первые два года учебы. Саша словно вышла из сумеречной сырости в ослепительный долгий день. Дни покатались спелыми, нагретыми на солнце яблоками – круглые, румяные, завершённые. Не оставляя после себя ощущения пустоты и холодной гнетущей неопределенности. Наполняя сердце созревшим плодоносным теплом.

Саша учила *эдемский* язык с честным бескорыстным упоением. Прилежно выписывала правила, усердно зубрила неподатливо прекрасные, вечно ускользающие слова, пыталась сплести их в тонкое воздушное кружево предложений. С завидным упорством старалась постичь логику, сущностный нерв, скрытый душевный механизм этого неродного, но такого желанного языка. Понять, что же там внутри, как же работает его сложное живое устройство. Язык казался похожим на свое главное земное обиталище – Анимию. Он ощущался в Саше таким же рельефным, живописным, переливчатым. Таким же недостижимым и притягательным.

Занятия по *эдемскому* вели попеременно двое молодых преподавателей. Антон Григорьевич Панин – долговязый белокурый мужчина с очень цепким энергичным взглядом. И Алиса Юрьевна Кац – розовощекая полная женщина, всегда лучезарная, сияющая, как будто физически излучающая золотисто-розовый свет. Саша никогда не пропускала их занятий. Даже как-то раз явилась в аудиторию с мучительно тяжелым жаром. Несколько часов неподвижно сидела за партой – будто на дне сотейника с кипящей водой – и сквозь горячее бурление смотрела на зыбкую доску, исписанную гладким *эдемским* текстом; слушала эфирную, восхитительно бесплотную *эдемскую* речь. И постепенно ей становилось легче. К концу учебного дня кипиток Сашиного больного тела словно разбавился тонкими струйками легкой живительной прохлады.

Ради *эдемского* языка можно было вытерпеть множество неинтересных, но обязательных предметов, входящих в университетскую программу. С легкостью пережить сопутствующую будничную скуку. Отходить на все практические занятия и семинары по педагогике – тягучие, беспредельно дремотные, монотонные, точно ноябрьские вечера. Или прослушать курс лекций по экономике от сгорбленного, едва артикулирующего старичка, хрупкого, как песочное тесто. Все это было посильно, вторично, несущественно. Главное, что Саша могла изучать *эдемский* язык, а после окончания учебы уехать в Анимию. И хотя для встречающего гида диплом филолога не требовался, глубокое, филигранно-тонкое знание местного языка, несомненно, увеличивало ее шансы на получение работы. Делало ее кандидатуру значительно ярче и весомее. Диплом *эдемского* отделения филологического факультета открывал ворота в ее сокровенную *негромкую* мечту гораздо шире, чем любые языковые курсы. И с каждым днем учебы просвет между воротными створками немного увеличивался, и недостижимая Анимия становилась чуть ближе.

Встречать пассажиров на тушинском вокзале Саша перестала: времени на поезда больше не было. С начала университетской учебы время становилось все более плотным, насыщенным; каждая минута высилась, разрасталась, наполнялась множеством деталей. Каждая минута становилась драгоценной. К тому же, помимо учебы, Саша подрабатывала репетитором по русскому и литературе – делала домашние задания с рассеянными нерасторопными школьниками средних классов. Впрочем, для тушинских поездов не было теперь не только времени, но и места в Сашиных обновленных чувствах. Все чувства стремились теперь исключительно к будущим, еще полупрозрачным, но уже почти реальным поездкам Анимии.

Помимо возможности доступа к мечте, в университете у Саши появилась первая и единственная подруга.

Над Соней по прозвищу *Звездный Шок* посмеивался весь курс. Вполголоса, мягко, почти беззлобно. Впрочем, некоторые смеялись и откровенно – беззастенчивым залившимся смехом. Оборачивались ей вслед и громко комментировали ее нарочитую *шоковую звездность*. На подобные комментарии Соня не реагировала. Продолжала гордо идти вперед – крупным, чуть пружинистым шагом, решительно размахивая руками. Словно пытаясь – назло и вопреки – занять как можно больше места в недружелюбном факультетском пространстве.

Соня была высокой, при этом довольно крепкой, полнотелой, плотной. Бесхитростно угловатой и широколицей. Удивительно монолитной. Весь ее внешний образ был напрочь лишен оттенков утонченности, мелких, едва уловимых нюансов красоты. И эту свою монолитность, природное отсутствие изящности, Соня усердно старалась компенсировать большим количеством косметики и бижутерии. На ее пухлом запястье, покрытом густым солярийным загаром, обязательно позвякивало сразу несколько браслетов – пестрых и разномастных. Ушные мочки измученно тянулись вниз под тяжестью массивных аляповатых сережек. На губах неизменно мерцал морковно-оранжевый либо темно-бордовый глянец, на веках – рассыпчатый радужный перламутр. С простодушной откровенностью и непреклонным, бескомпромиссным упорством она пряталась в избыточности красок, в искусственности цвета и блеска. Укутывалась в синтетическую рукотворную красоту – единственно возможную.

Как и внешность, ее вожаемая мечта была совершенно бесхитростной, до крайности незатейливой. Соня отчаянно мечтала стать актрисой. Сниматься в «романтических» фильмах, где герои выясняют отношения за столиками маленьких изящных кофеен с видом на бирюзовую озерную гладь. Или в пышных тенистых рощах, среди развесистых пальм и празднично яркой россыпи апельсинов на тонких деревьях. Ну или хотя бы на фоне тушинской сирени, среди запущенных, до боли знакомых парковых аллей.

На филологическом факультете Соня оказалась лишь потому, что «поступить было проще всего».

– В театралку все равно только блатных берут, а тут конкурс небольшой, да и экзамены не очень запарные, – пожимала она квадратными плечами. Рассудительно покачивала головой, звеня многочисленными сердечками серег. – Я вот и подумала: чего бы мне пока тут не поучиться, корочку не добыть.

Но душой она неизменно была на съемочных площадках.

В ущерб второстепенной провизорной учебе Соня ходила на всевозможные кастинги. Иногда даже ездила ради них в Москву. Часами ждала своей очереди – в душных извилистых коридорах, на безликих, истоптанных такими же отчаянными мечтателями лестницах или, бывало, снаружи, под косыми потоками ледяного дождя. Несколько раз ее приглашали в массовку региональных молодежных сериалов. Соня, разумеется, соглашалась, ведь «нужно же с чего-то начинать». Массовка представлялась ей необходимым первым шагом на пути к огненной головокружительной славе. Не побрезговала Соня и предложением сняться в зри-

тельном зале скандальной и многими презираемой телепередачи «Звездный шок», подарившей ей в итоге липкое неотвязное прозвище.

Саша и Соня учились в разных группах и пересекались вначале исключительно на общих, потоковых лекциях. За первые три месяца учебы они ни разу не поговорили – даже не познакомились, не обменялись короткими поверхностными репликами. Плыли параллельно друг другу в мутноватом факультетском течении, среди множества таких же разобщенных, обособленных незнакомцев.

Лишь однажды, в конце ноября, Саша посмотрела на Соню чуть пристальнее. Словно впервые увидела ее – уже успевшую побывать на съемках *постыдной* эпатажной программы и снискать весьма сомнительную актерскую славу.

Саша сидела рядом с одnogруппниками в сумрачно-дремотном факультетском коридоре. Слушала краем уха мерно бурлящие необязательные разговоры, хлебала прогорклый буфетный кофе, рассеянно пролистывала конспекты по культурологии. И внезапно староста группы Марина Шмелева решительно взмахнула рукой куда-то в сторону кафедры общего языкознания. Прямо с надкушенной сырной слойкой, зажатой между длинными когтистыми пальцами.

– Осторожно, ребята, Звездный Шок идет, как бы нам не ослепнуть от такого блеска, – сказала она манерно скользким, будто маслянистым голосом.

– Ой, ладно тебе, какая же ты злая... – нарочито гнусаво протянул в ответ ее неразлучный спутник Денис. – Небось просто завидуешь Шоку.

– Разумеется, как иначе. Шоку все завидуют.

Саша оторвала взгляд от конспекта, машинально посмотрела в указанном Шмелевой направлении. Увидела Соню Звездный Шок в переливающимся, серебристом, чересчур облегающем платье. Она была в нем похожа на крупную рыбу со сверкающей гладкой чешуей. Соня остановилась возле зеркала, достала из сумочки тюбик, вывернула сочную помадную плоть. Медленно, с несуетливым достоинством провела по губам темно-жирным цветом – черешневым, перезрелым. Затем вытащила коричнево-розовый флакончик духов, одним своим видом обещающий нестерпимую приторность. Рассеяла сладкие брызги по солоमисто-сухим мелированным волосам. И невозмутимо двинулась дальше, широко переставляя крепкие, неутомимые на вид ноги в замшевых ботильонах. Оставляя в воздухе густые мазки тяжелой карамельно-цветочной сладости.

Глядя ей вслед, Саша с вялым удивлением и слабой, едва ощутимой безразличностью подумала: как же странно настаивать на подобном облике. Как странно не видеть, не замечать – ни собственной вычурной нелепости, ни насмешливых взглядов сокурсников. С гордостью нести откровенную неуместность своего образа.

Через несколько секунд Соня скрылась за поворотом и тут же улетучилась из Сашиних мыслей. Испарилась вместе со своей блестящей серебристой чешуей, темно-черешневой помадой и мечтами о громкой актерской славе.

Но спустя месяц ее образ вновь оказался в поле Сашиного внимания. И на этот раз не улетучился, остался в нем на долгие годы, пустив крепкие жилистые корни.

Перед зачетной неделей у Саши случилось неудачное утро, наполненное мелко-будничными, бытовыми, но болезненно ощутимыми неприятностями. Неожиданно сломался фен, вынудив Сашу выйти на улицу с мокрыми волосами – под застылое декабрьское небо, покрытое темной морозной коркой; где-то во дворе, в липком сероватом снегу, потерялись выскользнувшие из кармана ключи от квартиры; сразу две мамы позвонили и отказались *на ближайшее время* от уроков русского с их чадами, урезав тем самым Сашин и без того скудноватый заработок. И в довершение всего абсолютно новые, на кровные сбережения купленные сапоги

мучительно сдавили и натерли ноги – всего за двадцать минут пути. Саша с трудом доковыляла до факультета, тяжело опустилась на металлический, обтянутый мутно-красным дерматином стул у входа, под расписанием. Расстегнула молнию на сапогах, вытащила наружу измученные, горячо пульсирующие ступни. С неподъемной, внезапно навалившейся усталостью подумала, что день только начинается, что до окончания занятий еще больше семи часов. Что до окончания учебы еще четыре с половиной года. Четыре с половиной года до возможного отъезда в Анимию, до шанса вырваться из непроглядной тушинской зимы. Мимо Саши проносились энергичные человеческие тела, по бледно-желтой, покрытой грязными разводами плитке бодро цокали каблуки. Со стороны лестницы сыпался чей-то натужный дробный смех, струились оживленные разговоры; в ближайшей аудитории кто-то старательно зачитывал конспект по семиотике – полным, сдобным голосом. А Саша рассеянно смотрела в зимнее факультетское окно, отзывавшееся зябким оцепенением. Колочим ознобом сонного, не выпавшегося утра. Медленно, с машинальной размеренностью, Саша расстегивала пуговицы пальто, разматывала шарф, ощущая, как внутри все темнеет. Внутри, среди нахлынувшей топкой тяжести, разбухали болотными кочками унылые, непривычно безвольные мысли. О бесприютном существовании в постылом родном городе. О недостижимости Анимии. О собственной хрупкости, уязвимости души и тела. Неприятные мелочи копились все утро в груди, где-то за сердцем; складывались друг на друга, покачиваясь и напряженно брэнча, словно груда разномастных тарелок. А как только Саша села на факультетский дерматиновый стул – повалились, разлетелись вдребезги, расцарапав нутро зазубренными осколками. Стало мучительно жаль себя – и одновременно стыдно за эту жалость; стало больно и сумрачно.

И внезапно кто-то бесцеремонно тронул Сашу за плечо. Крепкими, удивительно нечуткими пальцами.

– Ты вроде бы Саша, да?

Пахнуло пряной фруктовой сладостью, удушающе острой приторностью карамели и пра-лине. Тягучей волной нестерпимо густого парфюма. Саша вздрогнула, словно вынырнув из омута темной тяжелой воды. Чуть раздраженно, с недоуменной медлительностью подняла глаза. Рядом возвышалась плотная прямоугольная Соня Звездный Шок. На этот раз в леггинсах и цветастой тунике.

– На вот, держи, не мучайся, – сказала она и тут же достала из шуршащего сиреневого пакета чуть стоптанные, но при этом белоснежные кроссовки.

Саша перевела взгляд на собственные изнуренные ступни, вынутые из сапог; на свежие пятна крови, просочившейся сквозь капроновые колготки. Растерянно покачала головой.

– Держи, ну правда, – настаивала Соня, тряся кроссовками над Сашиной головой. – Тебе, конечно, чуть велики будут, но ничего. Всяко лучше, чем вот так ходить и кровью истекать. День только начинается.

У нее оказался удивительный голос – текучий, как будто янтарно-желтый, спелый. Словно сок душистого яблока. Полнозвучный. Совсем не вяжущийся с ее грубоватой простецкой внешностью, неуклюжими резкими движениями, с ее безвкусно-вычурным стилем. Саше подумалось, что такой голос, возможно, и правда хорошо звучал бы в каком-нибудь «романтическом» фильме. Если бы у Сони был хоть малейший шанс на роль с текстом.

– Это... ты на физру принесла?

– Нет, на званый вечер с королем Иордании. Ну на физру, конечно, куда же еще. Я на атлетику хожу, в зал. Но ты не переживай, они теплые, их и на улице носить можно, если недолго. До дома доедешь, не замерзнешь.

– На атлетику? У вас же сегодня... предварительный зачет, разве нет?

Саша была записана в секцию плавания. Занятия там вела невозмутимая молодая женщина с абсолютно кукольными, изумрудно-голубыми глазами – точно под цвет водных дорожек. С ласковым-чистым взглядом, словно пропитанным бассейной хлоркой. Она никогда не

следила за посещаемостью и ставила всем зачет автоматом. Но тот, кто ходил на физкультуру в секцию легкой атлетики, был вынужден терпеть своенравного, нещадного тренера, устраивавшего каждый месяц «предварительные зачеты».

– Ну, есть такое дело, – равнодушно пожала плечами Соня. Небрежно пригладила соломистую прядь, вылезшую из тугой замысловатой прически.

– А как же ты будешь... без кроссовок?

– Действительно, как? Ну, не пойду просто-напросто, и все. Подумаешь, предварительный зачет. Все теперь, застрелиться можно.

– Ты уверена? А как же...

– Тебя заклинило, что ли?

Соня закатила глаза, демонстративно захлопала густо покрашенными ресницами. И Саша наконец взяла кроссовки – смущенно, как будто немного боязливо, с ватной беспомощной нерешительностью.

– Спасибо. Я завтра верну.

– Да хоть послезавтра. Мне они до пятницы не понадобятся, не парься. Я понимаю, конечно, что стремно ходить в кроссовках и такой офисной юбке, но уж извини. Вот честно, я бы тебе отдала свои ботильоны, а сама влезла бы в кроссовки, но у меня сегодня кастинг в полшестого. Надо быть при параде. А твои сапоги мне явно малы будут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.